



Евгений Карнович

**На высоте и на доле:
Царевна Софья Алексеевна**

«Public Domain»

1879

Карнович Е. П.

На высоте и на доле: Царевна Софья Алексеевна /
Е. П. Карнович — «Public Domain», 1879

Роман «На высоте и на доле», подзаголовок которого «Царевна Софья Алексеевна», повествует о восхождении Софьи к вершинам власти и о ее политическом падении. Церковный раскол, боярские заговоры, стрельцкие бунты, тайные убийства и жестокие казни – вся суровая реальность русской истории воссоздана писателем.

Содержание

I	5
II	9
III	12
IV	16
V	19
VI	22
VII	25
VIII	29
IX	34
X	37
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Евгений Петрович Карнович

На высоте и на доле:

Царевна Софья Алексеевна

I

– Когда я была еще в отроческом возрасте, явилась на небе чудная звезда с превеликим хвостом, и звали ее в народе «хвостушею». Бывало, лишь зайдет солнце, и она чуть-чуть, как пятнышко, покажется на востоке, потом замерцает ярче, а ночью засияет на темном небе светлее всех звезд. Смотрела я подолгу на нее, и о многом думалось мне, но знаешь ли, отче, мне тогда становилось очень страшно...

Так говорила царевна Софья Алексеевна¹ стоявшему перед нею монаху, который с большим вниманием прислушивался к каждому ее слову.

– Ты звездочет, так скажи мне, что за звезда являлась тогда? – спросила пытливо царевна.

– Подобные звезды нарицаются с греческого языка кометами, что будет значить волосатые звезды. Называются они также звездами прогностическими, или пророческими, – наставительно отвечал монах.

– Из чего же сотворены они? – перебила с живостью молодая девушка.

– Из того, что по-латыни зовется материею, а по-гречески эфиром; эфир же для создания такой звезды, или кометы, был сперва сгущен силою Божиею, а потом зажжен Солнцем.

Софья слово в слово повторила это объяснение.

– Так ли я уразумела твою речь? – спросила она.

– Ты совершенно верно пересказала мои слова, благородная царевна, – одобрительно и с выражением удовольствия на лице отозвался монах.

– А зачем же являются такие звезды? Ты знаешь или нет?

– Тайны Божии непроницаемы для нас, смертных человеков. Всего наш ум объять не может, но как убедились мудрецы, как толкуют умные люди и как поучает история, кометы являются на небеси во знамение грядущих событий. Ходят оне превыше луны и звезд, никто не отгадает их бега по тверди небесной, никто не ведает, где и когда они зарождаются, где и когда они исчезают, – поучал монах царевну.

– Ты говоришь, что кометы являются во знамение грядущих событий, а каких же? Расскажи мне о том, отец Симеон*, – сказала царевна. – Да ты, верно, уж устал стоять, присядь, – ласково добавила она.

Царевна вела эту беседу с монахом в своем тереме. В той комнате, где они теперь были, шла вдоль одной из стен лавка, покрытая персидскою камкою*. В переднем, или красном, углу этой комнаты стоял под образами стол с положенными на нем книгами, а подле него было большое, с высокою резною спинкою, обитое синим бархатом дубовое кресло, на котором сидела Софья Алексеевна. По тогдашнему обычаю, на это единственное во всей комнате кресло, кроме царевны, как хозяйки терема, также навещавших ее царя, царицы, членов царского семейства и патриарха, никто не мог садиться. Все же мужчины и женщины, как бы знатны и стары они ни были и как бы долго ни шла у них беседа с царевною, должны были во все время разговора оставаться перед нею стоя и только изредка, в виде особой милости, им дозволялось садиться на лавку поодаль от царевны.

¹ *Объяснение слов и выражений, помеченных «звездочкой», см. в комментариях в конце издания. – Ред.*

Монах низко поклонился Софье Алексеевне, благодаря ее поклоном за чрезвычайный оказанный ему почет, и затем присел на лавку.

– Явление комет предвещает разные события, – начал он. – Чаще же всего предвещают они бедствия народные, в числе коих три бедствия полагаются главными: война, мор и голод. Предвещают кометы и о других еще бедствиях, как-то: о потопе, о кончине славного государя и о падении какого-либо знаменитого царства. О наступлении всех таких событий надлежит угадывать по тому, где впервые комета появится, на востоке или на западе, куда она свой хвост поворачивает и куда сама направляется, в какую пору наиболее блеснит она, какого цвету бывает ее сияние, сколько главных лучей идет от нее и многое сверх того еще наблюдать должно. Для познания всех предвещаний, делаемых кометою, нужны, царевна, и мудрость, и книжное учение, и многолетняя опытность.

– Ты, отче, я думаю, все небесные явления легко уразуметь можешь!.. Какой ты счастливый! – как будто с сожалением о себе самой и с завистью к своему ученому собеседнику проговорила царевна.

– Где все уразуметь мне, грешному человеку!.. Но, впрочем, слава Господу, сподобил он меня понимать многое, – скромно заметил монах.

Наступило молчание. Монах, как казалось, размышлял сам с собою, а царевна, опершись рукою на стол и склонив на ладонь голову, обдумывала те вопросы, которые хотелось ей предложить своему наставнику. Во время беседы любимая постельница царевны, Федора Родилица, родом украинская казачка, стояла, прислонившись спиной к стене. С видимым любопытством старалась она прислушаться к происходившему между царевною и Симеоном разговору; но заметно было, что многое она не могла взять в толк, и, поутомившись порядком, начинала позевывать и беспрестанно переминалась с ноги на ногу.

– Ты бы, Семеновна, пошла да отдохнула, придешь ко мне после, – сказала царевна постельнице.

Родилица, приложив под грудь вдоль пояса правую руку, отвесила ей низкий поклон и тихими шагами вышла из комнаты.

– Ведь наука гаданья по звездам называется астрологиею? Так?.. – спросила Софья монаха по уходе постельницы.

– Ты верно говоришь, благородная царевна, – отвечал он.

– А гадание, составленное по течению звезд, зовется гороскопом?

– И это верно изволишь называть, – перебил Симеон.

– Видишь, преподобный отче, я все помню, чему ты наставляешь меня, – не без некоторого самодовольства заметила Софья.

– Недостоин я, смиренный, такой славной ученицы, как ты, благоверная царевна! Сердце мое радуется, когда я смотрю на тебя, и дивлюсь я твоему уму-разуму и твоей жажде к познаниям.

На лице Софьи мелькнуло удовольствие при сделанной ей похвале.

– А ведь по звездам можно гадать больше, чем по кометам? – спросила она.

– Речь твоя разумна! Кометы предвещают только важнейшие, чрезвычайные, так сказать, народные или политические события, тогда как по сочетанию звезд и планет можно предсказать судьбу каждого человека, – глубокомысленно заметил наставник.

– Скажи мне, отче, но скажи по сущей правде, известно ли тебе, что при рождении брата моего, царевича Петра Алексеевича*, был составлен гороскоп, и не знаешь ли ты, что было предречено царевичу астрологами? – полушепотом спросила Софья, не без волнения ожидая ответа на этот вопрос.

– Слышал я, – отвечал нерешительно монах, – будто бывшему здесь в Москве голландскому резиденту Николаю Гейнзию* писал нечто из Утрехта земляк его, профессор Гревий*. Ведомо мне также, что государь, твой родитель, посылал к знаменитым голландским астроло-

гам приказ, чтобы они составили гороскоп новорожденному царевичу. Много золота он заплатил им за это. Предсказали же они царевичу, что он в монархах всех славою и деяниями превзойдет, что соседей враждующих смирит, дальние страны посетит, мятежи внутренние и нестроения обуздает, многие здания на море и на суше воздвигнет, истребит злых, вознесет трудолюбивых и насадит благочестие, где его не было, и там покой примет. Слышно также, что и епископ Димитрий*, увидев звезду пресветлую около Марса, предсказал твоему родителю, что у него будет сын, что ему наречется имя Петр и что не будет ему подобного среди земных владык.

Царевна с заметным беспокойством прислушивалась к рассказу своего собеседника, который, приостановившись немного, таинственно, чуть слышным голосом добавил:

– Но за то век его будет непродолжителен.

Софья как будто встрепенулась при этих словах.

– А что пророчат звезды о моей судьбе? – тревожно спросила она. – Ведь ты, отец Симеон, обещал составить мой гороскоп.

– До сих еще пор сочетание планет и течение других светил небесных не благоприятствовали мне и я не мог начертать весь твой гороскоп. Я знаю пока только то, что ты, благоверная царевна, будешь на высоте, – торжественно-пророческим голосом проговорил монах.

Софья быстро поднялась с кресел, щеки ее вспыхнули ярким румянцем, и она уперла свои смелые глаза на Симеона, который быстро приподнялся с лавки.

– А разве я теперь не на высоте, а на доле? – гордо и раздраженно спросила она. – Разве я не московская царевна, не дочь и не внучка великих государей всея Руси? Мачеха моя, царевна Наталия Кирилловна*, никогда не отнимет и не умалит моей царственной чести...

– Не о высоте твоего рождения говорю я, благоверная царевна, – спокойно перебил Симеон. – На эту высоту поставил тебя Господь Вседержитель, так что ты тут ни при чем. Я говорю о другой высоте, о той, какой ты сама, при помощи Божией, можешь достигнуть...

Тяжело дыша, прислушивалась Софья к словам монаха.

– О какой же высоте говоришь ты? – резко спросила она. – Разве я могу стать еще выше? Разве у нас, в Московском государстве, для женского пола, кроме терема да монастыря, есть что-нибудь другое? Разве есть у нас такой путь, на котором женщина может вознестись и прославиться? Ты, отец Симеон, хотя родом и из Польши, но давно живешь в нашей стороне, и пора бы тебе ознакомиться с нашими обычаями и знать, что на Москве не так, как у вас в Польше...

– Знаю, хорошо знаю я все ваши московские обычаи, – заговорил монах. – Ведомо мне, что они совсем иные против того, что ведется в Польше и в других чужеземных государствах; да разве, сказать примером, хотя бы в греческой стране, в Византии, где женский пол был в такой же неволе, как и у вас, немало прославились женщины из царского рода.

– Садись, отче, – сказала Софья Симеону, опускаясь сама опять в кресло, – и расскажи мне о них что-нибудь.

Монах сел на лавку на прежнее место.

– Я расскажу тебе, благоверная царевна, о дочери греческого кесаря Аркадия*, о царевне Пульхерии*. Жила она двенадцать веков тому назад. По смерти отца ее правление империею греческою перешло к брату ее Феодосию; он был скорбен главою, а она была светла умом и тверда волею. Стал при нем управлять царством пестун его Антиох, родом перс, но царевна не стерпела этого: она удалила Антиоха от царского двора и начала править за своего брата. Нашлись, однако, у нее враги и повели дело так, что брат царевны, наущенный ими, приказал заключить ее в дальний монастырь. Она сошла с высоты, но не долго пребывала на доле. Вскоре возвратилась она в царские чертоги, снова взяла власть над братом и правила царством до самой его кончины...

– Что же случилось с нею потом? – торопливо перебила Софья, с напряженным вниманием слушавшая повествование монаха.

– По смерти брата царская власть осталась в ее руках, но так как в Византии не было обычая, чтобы замужняя женщина, а тем паче девица, заступала место кесаря, то Пульхерия взяла себе в супруги прославившегося и добродетельного полководца Маркиана*, но власти ему не дала. Осталась она и в браке с ним девственницею и со славою управляла царством до конца своей жизни.

– Но ведь, кроме нее, были и другие женщины, которые правили царством; я помню, ты рассказывал мне о королеве аглицкой Елизавете; да в нашем царстве, как значится в «Степенных книгах»*, прославилась благоверная великая княгиня Ольга...*

– Ну, вот видишь, благородная царевна, значит, и в Российском царстве были именитые жены...

– Иные тогда, как видно, были обычаи, женский пол был тогда свободен; царицы и царевны не сидели взаперти в своих теремах, как сидят теперь. Знаешь ли, преподобный отче, как я тоскую!.. Что за жизнь наша! Смотрю я на моих старых теток, и думается мне, как безутешно скоротали оне свой век: никаких радостей у них не было! На что мне все богатства, на что мне золото и камни самоцветные, когда нет никакой воли? Разве так живут чужестранные королевны?

– Что и говорить о том, благоверная царевна. В вашей царской семье жизнь повелась иным обычаем; царевен замуж за своих подданных родители не выдают, а иностранные принцы в Москву свататься не ездят.

– А меж тем где же найдешь для мужа лучшее житье, как не у нас на Москве? – улыбнувшись, перебила Софья. – Вот посмотри, чему поучают у нас, – сказала она, взяв со стола переплетенные в кожу рукописные поучения Козьмы Халкедонского*. – «Пытайте, – начала она читать, – ученье, которое говорит: жене не велят учить, ни владеть мужем, но быти в молчании и покорении. Раб бо разрешится от работы господския, а жене нет разрешения от мужа». Поучают также у нас, что от жены древнезмейный грех произошел и что с него все умирают. Выходит так, что наш пол во всем виноват, а мужской из-за нас неповинно страдает...

– Это древнее учение, сила его ослабела, – возразил Симеон.

– Да, у просвещенных народов, а не у нас; ты сам не мало раз мне говорил, что народ наш еще не просвещен, – заметила Софья.

– Не просвещен-то он не просвещен, это так, а все же у вас людей разумных и книжных наберется немало, только нет им ходу, да и мало кто знает о них. Вот хотя бы Селивестр Медведев...* какой умный и ученый человек! Соизволь, царевна, чтобы я привел его к тебе, ты побеседуешь с ним и на пользу и в угоду себе.

– Я не прочь от знакомства с такими людьми, приведи его ко мне; он, статья может, вразумит меня многому, а тебе, преподобный отче, приношу мое благодарение за то, что ты наставляешь меня всякой премудрости, и божеской и людской. Принеси мне еще твоих писаний, читаю я их с отрадою, а теперь иди с Богом.

Монах стал креститься перед иконою и потом поклонился в ноги царевне, которая пожаловала его к руке, а он благословил ее. После этого Симеон вышел, а царевна, оставшись в креслах, глубоко задумалась: рассказ о царевне Пульхерии запал в ее мысли. Ей казалось, что положение этой царевны было во многом сходно с тем, в каком она сама находилась.

II

Непритворно сетовала Софья Алексеевна перед Симеоном на свою долю. Жизнь московских царевен была для нее невесела и казалась гораздо хуже, чем жизнь девушки-простолюдинки, пользовавшейся до замужества свободой в родительском доме. Чем выше было в ту пору общественное положение родителей девицы, тем более стеснялась ее свобода, а царевны в своих теремах жили в безысходной неволе. Можно с уверенностью сказать, что ни в одном из тогдашних русских монастырей не было столько строгости, воздержания, постов и молитв, сколько в теремах московских царевен. Во всем этом могло быть немало и лицемерия, а при нем еще тяжелее становилось строгое соблюдение исстари заведенных порядков. Царевен держали настоящими отшельницами: они тихо увядали, осужденные на жизнь вечных затворниц. Им были чужды тревоги молодой жизни, хотя бы сердце и подсказывало порою о любви, о которой, впрочем, они могли узнавать разве только по сказкам своих нянюшек, болтавших по вечерам о прекрасных царевичах. Вероятно, впрочем, что на большинство царственных отроковиц и сказки с любовным содержанием производили самое слабое впечатление. Привыкнув от раннего детства к своему затворничеству в тереме, царевны ограничивали свои помыслы лишь потребностями заурядного домашнего обихода; сердечным их порывам не было ни простора, ни исхода; им не на кого даже было направить их девичьи мечты и грезы, если бы они случайно встревожили и взволновали их.

Из посторонних мужчин никто не мог входить в их терема, кроме патриарха, духовника да ближайших сродников царевен, притом и из числа этих сродников допускались туда только пожилые. Врачи, в случае недуга царевен, не могли их видеть. Из теремов царевны ходили в дворцовые церкви крытыми переходами, не встречая на своем пути никого из мужчин. В церкви были они незримы, так как становились на особом месте в тайниках, за занавесью из цветной тафты*, через которую и они никого не могли видеть. Редко выезжали царевны из кремлевских хором на богомолье или на летнее житье в какое-нибудь подмосковное дворцовое село, но и во время этих переездов никто не мог взглянуть на них. Царевен обыкновенно возили ночью, в наглухо закрытых рыдванах* с поднятыми стеклами, а при проезде через города и селения стекла задерживались тафтою. Они не являлись ни на один из праздников, бывавших в царском дворце. Только при погребении отца или матери царевны могли идти по улице пешком, да и то в непроницаемых покрывалах и заслоненные по бокам «запонами», то есть суконными полами, которые со всех сторон около них несли санные девушки. В приезд царевны или царевен в какую-нибудь церковь или в какой-нибудь монастырь соблюдались особые строгие порядки. В церкви не мог быть никто, кроме церковников. По приезде же в монастырь все монастырские ворота запирались на замки, а ключи от них отбирались; монахам запрещалось выходить из келий; службу отправляли приезжавшие с царицею или царевною попы, а на клиросах* пели привезенные из Москвы монахини. Только в то время, когда особы женского пола из царского семейства выезжали из монастыря, монахи могли выйти за ограду и положить вслед уезжавшим три земных поклона.

В детстве царевен холили и нежили, но все их образование оканчивалось плохим обучением русской грамоте. Одна царевна Софья Алексеевна составляла исключение в этом отношении. Вырастали они, и начиналась для них скучная и однообразная жизнь в теремах. Утром и вечером продолжительные молитвы, потом рукоделья, слушание чтений из божественных книг, беседы со старицами, нищенками и юродивыми бабами. Все же мирское их развлечение ограничивалось пискливым пением санных девушек да забавами с шутихами.

Затворничество царевен было так строго и ненаруσιμο, что, например, приехавший в Москву свататься к царевне Ирине Михайловне* Вольдемар*, граф Шлезвиг-Голштинский, прожил в Москве для сватовства полтора года, не увидев ни разу, хотя бы мельком, своей неве-

сты. Затворничество в семейной жизни московских царей доходило до того, что даже царевичей никто из посторонних не мог видеть ранее достижения пятнадцати лет.

Вот как современник этого нелюдимого быта, Котошихин*, очертил его: «Царевны имели свои особые покои разные, и живуще яко пустынницы, мало зряху людей и их люди, но всегда в молитве и в посте пребываху и лица свои слезами омываху, понеже имея удовольствия царственные, не имея бо себе удовольствия такого, как от Бога вдано человеком». Это мнение бытописателя объясняется тем, что «государства своего за князей али за бояр замуж выдавати царевен не повелось, потому что и князи и бояре есть их холопы и в челобитье своем пишутся холопьями, и то поставило бы в вечной позор, ежели за раба выдать госпожу; а иных государств за королевичей и князей не повелось для того, что не одной веры и веры своей отменить не учинять, ставят то своей вере в поругание, да и для того, что иных государств языка и политики не знают и от того им было бы в стыд».

Живя в избытке и в тишине с успокоившимися, а может быть, и никогда не возбуждавшимися страстями, эти царственные отрасли еще в нестарые годы тяжелели телесно и окончательно тупели умственно. Свыкшись с детства с неволею, они не замечали ее и обыкновенно умирали в преклонных летах, много напостившись, и немало раздавали милостыни.

У царевны Софьи Алексеевны были на глазах примеры такой жизни, казавшейся ей томительною и невыносимою. В то время, когда она подрастала, в царской семье было девять безбрачных царевен. Из них две ее тетки были уже почтенные старушки. Они только молились да постились, отрешась от всего мирского и думая единственно о спасении души. Из сестер царевен шесть были от первого брака ее отца с Марией Ильиничной Милославской; из них Анна постриглась и скончалась в монастыре. А от второго брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной была одна только дочь Наталья Алексеевна. Из всех царевен три были моложе Софьи. Все они, и старые и юные, безропотно покорялись своей участи. Одна только царевна Софья, умная, страстная и кипучая нравом, не хотела поддаться своей доле и с самых ранних лет рвалась душою из тесного терема на простор.

По смерти царя Алексея Михайловича сел в 1676 году на московский престол старший его сын Федор*, болезненный шестнадцатилетний юноша, и тогда уже пошла по Москве молва, будто бы покойный государь хотел передать верховную власть, помимо старших своих сыновей, Федора и Ивана, болезненных и неспособных, самому младшему сыну, царевичу Петру. Москва приписывала это намерение проискам молодой царицы Натальи Кирилловны, которая хотела устранить от престола своих пасынков и доставить его своему родному сыну Петру, в то время только четырехлетнему отроку, отличавшемуся и здоровьем и бойкостью. При царском дворе шли тогда интриги и происки между представителями двух фамилий, родственных царскому дому, между Милославскими и Нарышкиными, и каждая из этих фамилий старалась о том, чтобы предоставить корону царевичу, принадлежащему или к семейству Милославских, или к семейству Нарышкиных. Обе эти семьи имели своих приверженцев среди боярства, но ни одна не пользовалась расположением среди чиновного люда и любовью в народе. Дворцовые интриги могли бы прекратиться, если бы у царя Федора был сын, прямой наследник престола, но он, после смерти одного сына, остался бездетен от первого брака с Агафьей Семеновной Грушецкой*, и не было у него пока детей от второго его брака с пятнадцатилетнею Марфой Матвеевной Апраксиной*; слабость же его здоровья была плохую порукою за его долголетие, и теперь в тереме царицы Натальи Кирилловны зрели замыслы на случай кончины царя Федора.

Чем больше подрастала царевна Софья, тем тяжелее становилась для нее затворническая жизнь. В будущем не виделось ничего отрадного, а воспоминания о минувшем детстве хотя и могли быть приятны, но и они уже не тешили молодой девушки с пылкими страстями, с умом, все более и более развивавшимся и требовавшим не теремной обстановки, а живой, кипучей деятельности.

В памяти царевны оживали порою ее детские годы, проведенные в роскошных кремлевских палатах и в тенистых садах села Коломенского, но и эти воспоминания отравлялись воспоминанием о той неволе, в какой держали ее в ту пору, когда надоедливые мамы и няни носили на руках, как бы не доверяя, что она умеет ходить.

Присмотрелась царевне и пышная полуазиатская обстановка московского двора, и не нравилась она Софье потому, что в ней на каждом шагу проглядывали стеснения и неволя женщины под строгим охранением стародавних московских обычаев.

Бывало, царица, мать Софьи, совершая «богомольные подвиги», отправится в монастырь; засадят молоденькую царевну в наглухо закрытую колымагу, а ей между тем хотелось бы посмотреть, что делается за стенами терема. Подсмеивалась тайком царевна и над странным поездом, сопровождавшим царицу-мать при отправке на богомольные подвиги. Впереди, сзади и по бокам царицыной колымаги ехали тогда попарно горничные девушки верхом, сидя в седлах по-мужски, одетые в пестрые длинные платья и с желтыми сапогами на ногах, в высоких шляпах из белого войлока, с алыми на них лентами и с такими же кистями, а лица этих молодых и старых наездниц были плотно закрыты густыми покрывалами. Весь склад московско-царской жизни, лишенный всякого умственного движения, приходился ей не по душе. Не любила царевна проводить время в пустых толках с обычными посетительницами теремов, не по ней были занятия рукодельями, и редко заглядывала она в мастерскую палату, где множество женщин и девушек шили наряды царице и царевнам и изготовляли воздухи*, пелены* и облачения для патриарха, архиереев, церквей и монастырей. Царевна томилась и изнывала, сознавая, как бесцельно и бесплодно проходит ее молодая жизнь. Вечные прятки от людей, удаление от всего, что давало простор мыслям и чувствам, сильно смущали ее, и любимую мечтою Софьи было – порвать те путы, которые приготовило ей на всю жизнь ее царственное рождение.

III

Уже несколько дней обычный ход жизни в Кремлевском дворце заметно изменился. Государь не вставал, по обыкновению, ранним утром в четыре часа. Не ожидали царский духовник, или крестовый поп, и царские дьяки его выхода в Крестовую палату, где он каждый день совершал утреннюю молитву, после которой духовник, осенив его крестом, прикладывал крест к его лбу и щекам и кропил святою водою, привозимую из разных монастырей в воцаных сосудцах. В Крестовой палате, перед устроенным в ней богато и ярко вызолоченным иконостасом, теплились теперь только лампы, а не зажигались восковые свечи разных цветов, как это делалось во время царской молитвы. В отсутствие царя духовник его и царские дьяки пели в Крестовой палате молебны о выздоровлении государя, после чего, по заведенному порядку, царский духовник клал на аналой икону того праздника или святого, который приходился в этот день, но не читались там поучительные слова и жития святых, которые слушал ежедневно царь, сев по окончании молитвы на кресло, стоявшее в виде трона посреди Крестовой палаты. Такие отступления от установленного порядка показывали, что государь был так болен, что не мог подняться с постели.

О тяжком недуге царя свидетельствовало и то, что, по установившемуся обычаю, один из ближних людей отправлялся в покои царицы спросить ее о здоровье, но сам государь не ходил теперь по утрам в терем своей супруги. Не собиралась теперь и царская дума в Грановитой палате, и хотя и съезжались во дворец на ежедневный поклон государю бояре и думные люди, но они не могли видеть его светлые очи и довольствовались лишь спросом о здравии. Не являлся Федор Алексеевич и в столовой избе, где обедал прежде или один или с супругою, а порою и приглашал к своей трапезе некоторых ближних людей. Вообще, во дворце многое шло не по заведенному порядку. В опочивальне, под шелковым пологом, лежал теперь царь Федор Алексеевич. Почти безвыходно, то в изголовье, то в ногах у него, сидела царевна Софья Алексеевна. Она с нежною внимательностью сестры ухаживала за ним, стараясь угодить больному и успокоить его ласками и участием.

– А кто отведывал новое лекарство? – спросил он слабым голосом у стоявшей около него царевны.

– Я блюду постоянно твое царское здоровье, и не дали тебе, милый братец, еще ни одного лекарства, прежде чем не отвели его или я, или ближние люди. Можешь спокойно принять и это, мы и доктору пить его приказывали! – успокоительно говорила царевна.

– Пью я, ваше царское величество, все лекарства! – отозвался на ломаном русском языке царский врач Данила Иевлевич фон Гаден* и, с этими словами вынув из-за пазухи своего черного кафтана, сшитого на немецкий покрой, серебряную ложку, налил в нее лекарства до самых краев и, хлебнув, крепко поморщился.

– Отпусти мне, Господи, мой тяжкий грех за то, что я принимаю лекарство из рук поганого жидовина! – набожно прошептал царь. – Грешим мы тем, что верим в человеческое врачевание, а не возлагаем надежду на помощь Всевышнего, – добавил он, обращаясь лицом к царевне.

– Греха в том нет, братец-голубчик. Ведомо, конечно, тебе, чему поучает апостол Павел. Он прямо пишет: аще болен, помазуйся елеем и позови врача, – вразумляла Софья своего брата.

– Приготовленное мною лекарство успокоит внутренности вашего царского величества. Оно составлено из веществ, имеющих самую целебную силу; в него положен и рог единорога, – докладывал Гаден.

Говоря это, он взбалтывал бывшую в руках его стекляницу и, посмотрев ее на свет, налил лекарства на золотую ложку и подошел к государю, между тем как царевна приподняла с подушки голову брата и поддерживала его за спину.

Царь осенил себя трижды крестным знаменем. Гаден поднес к губам его ложку, а он, пристально и недоверчиво посмотрев на «жидовину», с видимым отвращением хлебнул поданную ему микстуру и, снова трижды перекрестясь, в бессилии опустился на постель.

Гаден тихонько вышел, а царевна встала около брата на колени и, взяв его свесившуюся с постели руку, со слезами целовала ее.

– Светик ты мой ненаглядный, братец ты мой родимый! Пошли тебе Господи скорее исцеление. Встань поскорее с одра скорби в утешение и на защиту нас, твоих единоутробных! Как усердно, и день и ночь, молю я о тебе Господа нашего Иисуса Христа и его пречистую Матерь! – говорила царевна, продолжая целовать со слезами руку брата.

– Ведаю, милая сестрица, твою любовь ко мне и плачу тебе ею же взаим, – говорил тихо царь, тронутый участием сестры. – Ты безотходно остаешься при мне, не как другие. Вот хотя бы матушка-царица в кой раз пришла бы навестить меня, а то совсем забыла!.. Чем я ее царское величество мог прогневать, да и как я дерзну сделать что-нибудь подобное, когда покойный наш родитель заповедал нам любить и чтить ее, как родную мать? – сетовал Федор Алексеевич, оскорбленный невниманием к нему мачехи Натальи Кирилловны.

На это сетование не отозвалась царевна ни полсловом, но по выражению ее лица можно было заметить, что ей не любы были такие почтительные и нежные речи царя о молодой мачехе.

– Прикажи-ка, сестрица, позвать ко мне князя Василия, – добавил он, смотря на Софью.

Румянец вспыхнул на щеках молодой царевны; с трудом преодолела она охватившее ее волнение и, поспешно встав с колен, неровным голосом передала приказание Федора постельничему, стоявшему в другой комнате у дверей царской опочивальни.

Царь, казалось, впал в забытие. Закрыв глаза, он тяжело дышал, а Софья, вернувшись в опочивальню, села в изголовье его постели.

Спустя немного времени дверь в царскую опочивальню тихо отворилась, и на пороге показался боярин.

При появлении его щеки царевны зарделись сильнее прежнего. Вошедший в царскую опочивальню боярин был высок ростом и статен. Он был, впрочем, далеко уже не молод; с виду было ему лет под пятьдесят, и седина довольно заметно пробивалась в его густой и окладистой бороде. Легко, однако, было заметить тот страстный взгляд, каким впиалась царевна в пожилого боярина. Она так засмотрелась на него, как засматривается молодая девушка на полюбившегося ей юношу-красавца.

Помолившись перед иконою и отдав земной поклон перед постелью государя, боярин остановился поодаль от нее, ожидая, когда царь подзовет его к себе.

– Хочу я поговорить с князем Василием о царственных делах, а такие дела не женского ума работа. Уйди отсюда на некоторое времечко, сестричка, – ласково сказал Федор сестре.

Поцеловав снова руку брата и перекрестив его, она пошла из опочивальни, но на пороге приостановилась и обернула назад голову, чтобы взглянуть еще раз на боярина, и украдкой кивнула головою, как бы стараясь ободрить его этим знаком.

В передней царского дворца, которая в ту пору соответствовала нынешней приемной зале и в которую пошла теперь Софья, были в сборе все бояре, явившиеся во дворец, чтобы наведаться о царском здоровье. Боясь нарушить тишину, господствовавшую в царских палатах, они, рассевшись на лавках, шептались между собою, и заметно было, что между ними не было общего лада, так как одни искоса и с недоверием посматривали на других. Теперь в царской передней собралось все, что было на Москве богатого и знатного. С беспокойством ожидали бояре вестей о здоровье государя, предвидя, что кончина его вознесет одних и низложит других, что одни воспользуются милостями, других паразит опала.

Неожиданный приход царевны в переднюю удивил и смутил бояр. Появление ее в таком собрании, где были только мужчины, показалось необычайным нарушением не только придворных порядков, но и общественного приличия. В особенности изумило то, что лицо царевны не было покрыто фатою в противность обычаю, которого, как тогда думалось, нигде и ни в каком случае нельзя было нарушить. Изумленные бояре сперва исподлобья посмотрели на царевну, а потом вопросительно переглянулись друг с другом. Софья, однако, не смутилась и, в свою очередь, смело смотрела на них, так что они, приподнявшись поспешно с лавок, приветствовали царевну раболепными поклонами.

Не обращая на поклоны внимания, царевна остановилась посреди передней.

– Здравие его царского величества, по благодати Господа Бога, улучшилось в эту ночь, – громким и твердым голосом заявила она. – Великий государь повелел сказать вам милостивое слово и приказал отпустить по домам.

В ответ на это последовали снова низкие поклоны, которые в ту пору были в таком обычае, что, например, боярин князь Трубецкой*, выражая однажды свою благодарность царю Алексею Михайловичу за оказанные ему милости, положил сразу перед государем тридцать земных поклонов.

Но и на повторенные поклоны царевна не отвечала никаким приветствием. Холодность и важность ее смутили бояр.

– Пошли, Господи, великому нашему государю скорое выздоровление! Молим пресвятую Богородицу Деву и святых Божиих угодников о долголети и здравии его царского величества! – заговорили бояре и стали один за другим выходить из передней; но между ними не трогался с места один только боярин, Лев Кириллович Нарышкин*.

– Что же ты не едешь домой? – строго спросила его Софья. – Ведь тебе, как и всем другим боярам, сказано уже о государевом здоровье...

– Не затем только, чтобы узнать о здоровье его царского величества, прибыл я сюда, – отвечал смелым, почти дерзким голосом Нарышкин. – У меня, царевна, есть еще и другая надобность.

– Какая? – резко перебила Софья, смерив суровым взглядом боярина с головы до пяток.

– Благоверная царица, великая государыня Наталия Кирилловна повелела мне навеститься, может ли она навесить его царское величество, и так как ты, государыня царевна, соизволила объявить, что здоровье его царского величества...

Софья не дала Нарышкину докончить его слов.

– Точно что здоровье государя-братца стало лучше, – перебила она, – да все же ему еще пока не под силу вести беседу с царицей-матушкой. Слышишь, что я говорю? Так и доложи ее царскому величеству.

По губам боярина пробежала насмешливая улыбка, а Софья сделала несколько шагов вперед, чтобы выйти из передней.

– Думается мне, – заговорил ей вслед Нарышкин, – что если к его царскому величеству есть доступ другим сродникам, то отказ в этом царице Наталии Кирилловне будет непристойен.

Царевна быстро повернулась к Нарышкину. Лицо ее выражало сильный гнев.

– Что ты говоришь? – спросила она его раздраженным голосом.

– Говорю я, благоверная царевна, что никому не следует забывать, что царица Наталия Кирилловна, по вдовству своему, старейшая в царской семье особа и что, по супружеству своему, она тебе, твоим братьям и сестрам заступает родную мать.

– Не тебе учить нас почтению к царице! – воскликнула Софья, топнув ногою о пол. – Хотя ты и царский сродник, но не забывай, боярин, что ты остался все тем же нашим холопом, каким родился, и должен всегда памятовать, с кем ты говоришь. Ступай отсюда! – крикнула она громче прежнего, показав Нарышкину на выходную дверь повелительным движением руки.

Как ни казался сперва тверд и надменен боярин, но он опешил при грозном на него окрике царевны и, отвесив ей низкий поклон, смиренно выбрался из передней на Красное крыльцо, на котором оставались еще бояре, державшие сторону царицы Наталии Кирилловны и поджидавшие Нарышкина.

– Что скажешь, Лев Кириллович? – спросил Нарышкина боярин князь Черкасский*, когда Нарышкин в сильном смущении появился на Красном крыльце.

– Пойдите да поговорите-ка с царевной Софьей Алексеевной! Как же, допустит она царицу к государю! Видно, что у них на уме свое дело. Да и обманула нас царевна: говорит, что здоровье государя лучше, а Гаден сказывал, что много, если царь еще дней с пяток или с неделю проживет. Посмотрите, что они изведут его царское величество, – зловеще добавил Нарышкин.

– А царевна-то сегодня? Каково? Надивиться не могу ее бесстыдству! – говорил Одоевский*, покачивая головою.

– Что и говорить! – отозвался князь Воротынский*. – Слыхано ли дело, чтобы когда-нибудь царевна, да еще с открытым лицом, выходила к мужчинам!

– Никакого женского стыда в ней нет, а помните ли, как прошлым летом, когда царица Наталья Кирилловна, проезжая по Москве, приподняла только занавеску в своей колымаге, как вся Москва заговорила и укоряла царицу за небывалое у нас новшество! А царевна-то что делает?

Бормоча и шушукаясь между собою, бояре нарышкинской партии спустились медленно с Красного крыльца и поехали домой.

Выпроводив Нарышкина из передней, царевна осталась там, поджидая выхода князя Василия Васильевича Голицына* из государевой опочивальни. Она догадывалась, о чем царь желал поговорить с князем, и сильно билось у нее сердце в ожидании, что скажет ей Голицын, который наконец показался на пороге передней. По лицу его было заметно, что беседа с государем расстроила его. Увидев Голицына, Софья бросилась к нему навстречу.

– Не удалось на этот раз, царевна! – сказал Голицын, печально покачав головою и с выражением безнадежности разводя руками. – Ссылается государь на волю покойного своего родителя и говорит, что после его кончины следует быть на царстве царевичу Петру Алексеевичу.

– Это дело Нарышкиных! – запальчиво вскрикнула Софья.

– Видно, ты, царевна, плохо сторожишь от них государя, – слегка улыбнувшись, заметил Голицын.

– Сторожу я его хорошо, от зари и до зари сижу при его постели! Не теперь, а давно Нарышкины опередили нас в этом деле. Они, как только скончался батюшка, пустили по Москве молву, будто он завещал престол царевичу Петру. Он, пожалуй, и вправду сделал бы это, если бы в ту пору, когда он отходил, пустили к нему нашу мачеху. Она сумела бы уговорить его, ведь ты знаешь, какую власть взяла она над нашим родителем...

– Просто-напросто околдовала его! – перебил Голицын.

– Полно, князь Василий! Нам нужно думать теперь о том, чтобы одолеть Нарышкиных не волшебством, а другими способами, и мне кажется, что стрельцы и раскольники могут пособить нам лучше всяких знахарей и кудесников...

– Ты правду говоришь, царевна! – как-то радостно вскрикнул Голицын. – Стоит только нам привлечь к себе Москву, а следом за ней наверно пойдет и все государство...

В это время в переходе, ведшем в переднюю, послышались чьи-то шаги. Царевна и князь быстро двинулись в разные стороны. Она вошла в опочивальню брата, а он в глубоком раздумье вышел на Красное крыльцо.

IV

Глубоко в памяти подраставшей Софьи Алексеевны запечатлелся суровый и величавый облик Феодосьи Прокофьевны Морозовой*, жены боярина Глеба Ивановича*. Царь Алексей Михайлович отменно жаловал и особенно чествовал эту знатную боярыню, деверь которой, боярин Борис Иванович Морозов, был женат на Анне Ильинишне Мирославской, родной сестре царицы Марии Ильиничны*, и следовательно, приходился свояком государю. Каждый день боярыня Морозова приезжала вверх к царице Марии Ильиничне, чтобы вместе с нею слушать позднюю обедню. По несколько раз в неделю бывала она за царицыным столом и редкий вечер не проводила с государынею, запросто беседуя с нею. Казалось, судьба дала Феодосье Прокофьевне все, чтобы она была счастлива в земной своей жизни: она была богата и знатна, и вся Москва говорила о ней, как о боярыне разумной, сердобольной и благочестивой. Морозова была дочь боярина Соковнина*, она вышла замуж за далеко не равного ей по годам Глеба Ивановича, так как ему во время брака было уже пятьдесят, а ей только минуло семнадцать лет. Но брак этот был удачен: молодая жена любила и уважала своего пожилого мужа, а он, как говорится, души в ней не слышал. Тридцати лет овдовела Морозова и жила первые годы после своего вдовства, как следовало жить богатой боярыне. Было у нее восемь тысяч крестьян, разного богатства считалось более чем на двести тысяч рублей, а в московских ее покоях прислуживало ей более четырехсот человек. Ездила она по Москве в карете, украшенной мусиею (мозаикою) и золотом, на двенадцати армагаках* с «гремющими цепями», а около кареты ее ехало и бежало, по тогдашнему обычаю, множество дворовой челяди: иногда сто, иногда двести, а иногда даже и триста слуг. Но вдруг боярыня, ни с того ни с сего, перестала навещать родных и знакомых.

– Видно, больно возгордилась, уже слишком чествуют ее в царских палатах! – заговорили родные и знакомые.

Вскоре, однако, они увидели, что, отзываясь так, они сильно ошибались, потому что Морозова перестала показываться и во дворце, а между тем молва о добрых делах ее становилась в Москве все громче и громче.

– Совсем позабыла ты нас, Феодосья Прокофьевна! – приветливо укорял царь Алексей Михайлович Морозову при встрече с нею.

– Препней дружбы со мною вести не хочешь, – ласково выговаривала ей царица Марья Ильинична, когда боярыня, по необходимости, в праздники или в день своего ангела, с именным калачом приезжала к царице.

На эти милостивые слова она не отвечала ничего и только смиренно кланялась царю и его супруге.

Скончалась царица Марья Ильинична, и царь позабыл на время о Морозовой, но когда наступило время второго его брака с Натальей Кирилловною, он вспомнил и указал Морозовой, как старейшей по покойному ее мужу боярыне, стоять первую между боярынями и говорить «царскую титулу».

С извещением о таком милостивом почете отправился к Морозовой царский стольник.

– Не буду говорить я царскую титулу, – отозвалась с недовольным видом Морозова, вместо того чтобы с радостью принять оказанную ей честь.

– Так и прикажешь сказать государю? – спросил изумленный стольник.

– Так и скажи, – решительно отвечала она.

Царский посланец только пожал плечами и поехал с дерзким ответом к государю.

– Нешто обидел я ее чем-нибудь? – спросил сам себя царь, как бы теряясь в догадках о причине отказа Морозовой, и отправил к ней ее седовласого дядю, боярина Михаила Алексеевича Ртищева*.

– Скажи бабе, чтобы не дурила, – было коротким поручением царя второму посланцу.

– Не велел тебе, племянница, его царское величество душить, – сказал приехавший к Морозовой Ртищев. – И воистину ты дуришь! С чего не хочешь говорить царскую титулу на бракосочетании великого государя?

– Потому не хочу говорить, что мне придется назвать его благоверным, а какой же он благоверный, коль идет во сретение антихристу? – с негодованием отвечала боярыня.

Дядюшка, заслышав это, раскрыл от удивления рот и вытаращил глаза.

– Чего так смотришь на меня? Разве он благоверный? Еретик он! Могу ли я поцеловать у него руку? А в палатах его могу ли я уклониться от благословения архиереев? Нет, дядюшка, лучше пострадать, чем иметь сообщение с никонианцами, – сказала Морозова и, закрыв лицо руками, отчаянно замотала головою.

– Говоришь ты неправду! Святейший патриарх Никон* – муж великий и премудрый учитель, и новые книги, которые при нем напечатаны, правильны, – вразумлял Ртищев племянницу. – Оставь распрю, не прекословь великому государю и властям духовным. Видно, протопоп прельстил тебя?

– Нет, дядюшка, – с улыбкою перебила Морозова, – неправду говорить изволишь, сладкое горьким называешь. Протопоп* – истинный ученик Христов!

– Ну, поступай, как знаешь! – с досадою проворчал Ртищев. – Только берегись, смотри, чтобы не постиг тебя огнепальный гнев великого государя.

С этою угрозою старик приподнялся с кресла и поехал во дворец.

– Больна, ваше царское величество, боярыня Морозова, да так больна, что и со двора выехать не может, – доложил лживо Ртищев, спасая свою племянницу от государева гнева.

– Больна, так что ж тут поделаешь! Другой предназначенная ей честь достанется, – заметил кротко царь и пригрозил ездившему к Морозовой стольнику отдуть его батогами, чтобы он впредь на боярыню Федосью Прокофьевну облыжно не доносил.

В то время, когда боярыня беседовала с дядею, в подклети, то есть в нижнем жилье ее хором, шла другая беседа.

– Будет тебе, протопоп, лежать! Ведь ты поп, а стыда у тебя нет! – так говорил лежавшему на постели, одетому в подрясник мужчине стоявший посреди комнаты в одной грязной рубашке, с длинными растрепанными волосами и со включенною бородою парень лет за тридцать. – Посмотри на меня, днем я работаю во славу Господню, а ночью полежу да встану и поклонов с тысячу отброшу.

– Юродствуешь ты, Федька, дурь и блажь на себя напускаешь. Неужто ты мнишь тем угождать Господу Богу? Думаешь ты, что годится день-деньской шляться да разный вздор молоть, а ночью вскакивать да земные поклоны класть. Жил бы ты, как живут все люди, лучше бы было, – спокойно отвечал Аввакум Петрович.

– Нешто ты, протопоп, не знаешь, что Бог повелел пророку Исаии ходить нагу и босу, Иеремию возложить на выю клады и узы, а Иезекиилю возлежать на правом боку сорок, а на левом сто пятьдесят дней? Все это ты знаешь, да тебе бы только лежать, а я пророк и обличитель... Ты вот и молиться-то не охоч, сам лежа молитвы читаешь, мне же велишь за тебя земные поклоны класть, а я и от своих спину разогнуть не могу.

– Как же! Рассказывай! – насмешливо перебил Аввакум. – Богу достоин поклоняться духом, а не телодвижениями, а кто любит Христа, тот за него пострадать должен. А разве мало я настрадался? Был я, как ты знаешь, в великой чести, состоял при Казанском соборе протопопом, церковные книги правил, беседовал не только с боярами и патриархом, но и с самим царем, а предстала надобность, так от страданий не уклонился. Когда я был отдан под начало Илариону*, епископу рязанскому, каких только мук не натерпелся я! Редкий день не жарил меня епископ плетьюми, принуждая к новому антихристову таинству, а батогам так и счету нет. Сидел я в такой землянке, что в рост выпрямиться не мог, тяжелые железы с рук и ног моих

не снимали. А в Сибири сколько страданий я перенес, да и не один, а была со мной моя протопица! Где мы только с ней не блуждали! Не раз хищные звери устремлялись на нас, и только Господь охранял нас своею благодатью. Вот такие страдания подобают человекам, а не дурачества вперемежку с молитвой.

Федор присмирел и присел на пол на корточки. Охватив колени обеими руками, он начал качаться из стороны в сторону.

– Вот хотя бы ты, Федор, вместо того чтоб попусту юродствовать, вышел бы на площадь, разложил бы костер, да и сжег бы на нем новые книги! – начал опять Аввакум.

– А что, и вправду! Завтра же сделаю! Да где только таких книг достать? – привскочив с полу, крикнул юродивый.

– Где достать? Да боярыня их хоть целый воз закупит!

– Ай да ладно! Пышь! Пышь! – весело выкрикивал Федор, подсакивая на одной ноге по комнате.

– И коли пострадаешь, так пострадаешь за дело, – внушал Аввакум. – Вот Киприан тоже юродствовал, да смел был, за то и сподобился мученической кончины, когда ему в Пустоозерском остроге голову отрубили. Страдальцем за истинную веру стал, а ты что?

– погоди, протопоп! Придет и моя чередка! – продолжая подпрыгивать, крикнул Федор.

Он не ошибся, так как его вскоре за упорство в староверстве повесили в Мезени.

Об Аввакуме, нашедшем себе убежище по возвращении из Сибири в доме Морозовой, часто толковали и в царских хоромах и в кремлевских теремах, как о ревностном поборнике раскола. Давно слышала о нем царевна Софья и наметила его в числе людей, которые должны были служить орудием ее замыслов.

V

Проводив Ртищева, Морозова принялась за обычные занятия, а их у нее было не мало: всеми делами обширного своего как городского, так и деревенского хозяйства заправляла она сама, да сверх того были у нее и другие хлопоты. Дом ее был полон посторонними людьми, которых она у себя приютила. Кроме Аввакума, Федора и Киприана, жило у нее еще несколько юродивых мужчин и женщин, а также пять инокинь, изгнанных из монастырей за приверженность к древнему благочестию. Проживали у нее также сироты, старицы, странницы, заходящие черницы и калеки. Одних нищих кормила у себя боярыня человек по сто каждый день. Словом, благочестие господствовало в доме Морозовой, а чтение священных книг и молитвенное пение немолчно слышались в ее обширных хорах.

Много добрых дел творила она на стороне: выкупала с правежа* должников, щедрою рукою раздавала милостыню нищим, посещала колодников; ездила она также и по церквям и монастырям, оскверненным никонианами, но делала это, как говорила она, только «из приличия». Не довольствуясь благочестивыми подвигами, она захотела постричься в монахини, хотя ей встречалось в этом случае особое затруднение: сын Морозовой подрастал и предстояло вскоре справлять его свадьбу, на которой ей пришлось бы быть хозяйкою, а в иноческом чине этого делать не подобало.

– Пусть будет, что будет, а о душе надобно пещись прежде всего, – сказала боярыня и решила постричься, несмотря на то что от такого намерения отклонял ее Аввакум.

И тайно от всех ее постриг бывший игумен Домфей, один из ревностнейших расколотчиков. Аввакум и после этого сохранил свою прежнюю силу над боярынею-инокинею, и любила она часто и подолгу беседовать с ним.

– Не наделил их Господь разумом, – говорил однажды протопоп боярыне. – Оба царевича и все царевны куда как тупы рассудком, одна царевна Софья Алексеевна заправская умница и чем более подрастает, тем более крепнет умом. Сказывал мне не раз князь Василий Васильич Голицын, что не может надивиться ее светлому разуму, все она в толк взять может. Как заговорят с нею о делах государственных, так она складнее всякого боярина и думного дьяка рассуждает, да и к книжному учению она куда как прилежит. Поверишь ли, матушка, что она писание Сильвестра Медведева вчерне поправляла и на многие погрешности ему указала и недомыслия его разъяснила! Послушала бы ты, что о ней князь Иван Андреевич Хованский* рассказывает. Да и вообще слышно, что такой разумной девицы никогда в целом свете еще не бывало...

– Вот бы ее от никонианства отвратить да преклонить бы на нашу сторону! Царевна ведь! – перебила Морозова.

– Велика важность, что царевна! – с презрением отозвался протопоп. – Пожалуй, и ты Бог весть что о себе думаешь? Али ты лучше нас тем, что боярыня? Помни, что одинаково над нами распростер Бог небо, одинаково светит нам месяц и сияет солнце, а все прозябающее служит мне не меньше, чем и тебе, – говорил протопоп, повторяя в главных чертах свое основное учение.

Протопоп призадумался. В голове его зашевелилась обычная, не дававшая ему покоя мысль.

«Богу достоин поклоняться духом, – думал он. – Ошибки в церковных книгах сами по себе небольшая еще беда, и по таким книгам и даже вовсе без книг может молиться тот, кто захочет. Книги – только предлог, чтоб поднять народ против государственного и мирского строения».

– Нет, матушка, нам нужна не царевна, а ее душа, ведь и у нее такая же душа, как и у меня, а душа человеческая – не игрушка. Справим мы наше мирское дело и без царевен. Тот, кто на земле пребывал на доле, пребудет по смерти на высоте.

– О царевне Софье Алексеевне я заговорила, отец протопоп, потому только, что твоя пречестность сам навел меня на мысль о ней своими речами, – робко извинялась Морозова.

– Ни кого и ни на что не навожу я моими речами, – резко отозвался суровый Аввакум, а сам между тем подумал: «Как бы все-таки хорошо было, если бы удалось уловить в сети раскола умную и бойкую Софью Алексеевну!»

Как ни таила Морозова свою принадлежность к расколу, но молва об этом дошла наконец до царя. Проведал он также, что она привлекла к расколу и сестру свою, боярыню княгиню Евдокию Прокофьевну Урусову*. Подшепнули великому государю и о том, почему боярыня Морозова несколько лет тому назад не захотела сказывать на свадьбе его величества «царскую титулу». Узнав об этом, «тишайший царь» пришел «в огнепальную ярость» и отправил снова к боярыне дядю ее Михаила Алексеевича Ртищева. На этот раз дядя поехал не один, а взял себе на подмогу свою дочь Анну, двоюродную сестру Федосьи, которую прежде так нежно любила Морозова.

Боярин заговорил племяннице свои прежние речи, но встретил с ее стороны ту же непреклонность. Заговорила после него Анна.

– Ох, сестрица, – сказала она, – съели тебя старицы. Как птенца отучили тебя они от нас; не только нас презираешь, но и о сыне своем не радеешь, а надобно бы тебе и на сонного его любоваться, над красотой его свечку поставить! Сколько раз и великий государь красотой его любовался...

– Не прельщена я старицами, – сурово отвечала Морозова. – Творю я все по благодати Бога, которого чту целым умом, а Христа люблю более, чем сына. Отдайте моего Иванушку хотя на растерзание псам, а я все-таки от древнего благочестия не отступлю. Знаю я только одно: если я до конца в Христовой вере пребуду и сподоблюсь за это вкусить смерть, то никто не может отнять у меня моего сына; в царствии небесном соединюсь я с ними паки.

Ртищев убедился, что попусту будет уговаривать упорствующую племянницу. Он распрощался с нею, поехал к царю и доложил обо всем по правде, боясь, что теперь и помимо него государь проведает.

Алексей Михайлович нахмурил брови.

– Ступай к боярыне Морозовой, – обратился он к бывшему при докладе Ртищева князю Троекурову*, – и скажи, что тяжело ей будет бороться со мною. Один кто-нибудь из нас одолеет, и наверно одолею я, а не она!

Вернулся князь Троекуров от Морозовой и коротко и ясно донес государю, что боярыня покориться не хочет и новых книг не принимает.

Заговорили в теремах об ослушании Морозовой перед царскою волею.

– Вишь ведь какая упорная!.. – повторяли женщины, окружавшие Софью Алексеевну. – Только боярыня, а как упорствует, никого себе в версту не ставит!

Чутким ухом прислушивалась девятнадцатилетняя царевна к рассказам о Морозовой.

«Вот и женщина, – думалось ей, – а по твердости нрава и по смелости не уступает мужскому полу. Не будь только робка, а наделаешь много», – добавляла мысленно царевна, и пример Морозовой ободрял молодую девушку в ее намерении действовать решительно и отважно, если бы представился к тому случай. Захотелось ей также узнать и о расколе, которого так крепко держалась Морозова, и с вопросом об этом обратилась она однажды к князю Ивану Андреевичу Хованскому, который тоже слыл в Москве тайным врагом никониан.

– Тут, благородная и пресветлейшая царевна, выходят разные церковные препирательства, – отвечал уклончиво князь Иван на вопрос царевны о различии между новою и старою верою. – Ведать об этом должен духовный чин, а не мы, миряне. Думается, впрочем, одно: в

том, что зовут ныне у нас расколом, кроется небывалая народная сила, и что если она поднимается, то трудно будет одолеть ее мирским и духовным властям. Вознесет она того, кто будет ею править...

Такой отзыв Хованского о расколе зародил в ней мысль воспользоваться, когда придет пора, этою грозною силою.

VI

Почти с год оставил царь Морозову в покое, как вдруг до него дошел слух, что она не называет его благоверным.

– Не именует меня благоверным, стало быть, не признает моей царской власти! – вспылал он и отправил к Морозовой боярина князя Петра Семеновича Урусова с повторительным требованием, чтобы она покорилась.

Сообщил Урусов царское повеление своей снохе и грозил ей страшными бедами.

– Почто царский гнев на мое убожество? – смиренно отвечала Морозова. – Если царь хочет отставить меня от веры, то десница Божия покроет меня. Хочу умереть в отческой вере, в которой родилась и крестилась.

– Не покоряется боярыня твоему царскому величеству, – печально доложил Урусов царю.

– Не покоряется? Так разнесу я ее вконец! – грозно крикнул великий государь и гневно затряс своею темно-русою бородою.

Урусов, выйдя из дворца, поспешил домой, чтобы через свою жену предупредить Морозову о предстоящей ей беде. Но с бесстрашием выслушала боярыня эту грозную весть.

– Матушки и сестрицы мои во Христе Иисусе! – заговорила она, собрав около себя всех живших в доме ее монахинь и странниц. – Наступил час пришествия антихристового, беда движется на нас, идите вы все от меня, куда вас Господь наставит, а я одна буду страдать за вас.

– Ты одна не останешься, я с тобою до конца пребуду! – заливаясь слезами и кидаясь на шею сестры, вскрикнула княгиня.

Между тем сильно стухнувшие старицы и странницы, позабрав наскоро свои мешки и котомки и получив от боярыни денежную и съестную подачку, с плачем и жалобными причитаниями выбрались из ее хором и разбрелись по Москве и за Москву во все стороны.

Стало вечереть, на колокольнях московских церквей отзвонили ко всенощной. Загородили в Москве улицы на ночь рогатками, и все успокоилось, как будто замерло в городе. Отходя ко сну, боярыня и княгиня сотворили усердную и продолжительную молитву, после которой Морозова легла в постельной, а княгиня в соседней комнате. Они крепко спали, когда вдруг на улице около хором послышался шум, а следом за тем раздался сильный стук в воротах, в которые колотили несколькими палками с настоятельным требованием, чтобы тотчас же отступили затвор.

– Царская посылка к нам прибыла! – в ужасе вскрикнула проснувшаяся боярыня.

Она хотела вскочить, но ноги у нее от страха подкосились, и она снова опустилась на постель.

– Не бойся, сестрица! – отозвалась из другой комнаты тоже проснувшаяся княгиня. – Христос с нами! Сейчас приду к тебе, положим начало нашим страданиям.

Княгиня спешно вошла в постельную.

Пока отворяли ворота и слышались тяжелые шаги шедших по лестнице людей, обе сестры клали на прощанье одна перед другою земные поклоны, а потом, благословясь друг у друга, легли на прежние места.

Вскоре дверь в постельную отворилась, и при тусклом свете лампад боярыня увидела перед собою седобородого архимандрита Чудова монастыря Иоакима* в сопровождении думного дворянина Лариона Иванова.

– Встань, боярыня! – повелительным голосом сказал вошедший архимандрит. – Я принес тебе царское слово.

Боярыня не отозвалась на эту речь и даже не пошевелилась.

– Встань, говорю тебе! – прикрикнул Иоаким. – В присутствии духовного лица лежать тебе не приличествует.

– Я больна, – пробормотала Морозова.

– Ну, перемогись, а все-таки встань. Говорю тебе не от своего имени, а от имени благоверного великого государя.

– Какой он благоверный! – вспыхнула Морозова, быстро привскочив в постели, и затем снова опустилась на нее.

– Говорить так тебе негоже, – внушительно заметил архимандрит, – да и лежать теперь не след; не можешь стоять по болезни, так хотя посиди на постели.

– Не встану и не сяду, – отозвалась упорно Морозова и с этими словами отвернулась на постели от архимандрита.

– Добром с тобою, как видно, ничего не поделаешь; спрошу благоверного государя, как повелит он поступить с такою ослушницею.

– Какой он благоверный! – сердито проговорила Морозова.

Архимандрит сделал вид, что не слышал этих предрезостных слов.

– Посмотри, кто там, в другой горнице, – приказал он думному дворянину.

– Ты кто такая? – окликнул Иванов, заглянув в соседнюю комнату и увидав там лежавшую на лавке женщину.

– Я жена боярина князя Семена Петровича Урусова, – отозвалась княгиня.

– А спроси-ка ее, как она крестится? – приказал Иоаким Иванову.

Княгиня быстро соскочила с лавки и, вбежав опрометью в постельную, остановилась перед архимандритом.

– Сице* верую! – закричала она, подняв руку, сложенную в двуперстное крестное знамение.

Архимандрит только крикнул и значительно покачал головою.

– Сторожи-ка их здесь, не пускай никуда, а я отправлюсь к его царскому величеству испросить, как велит он поступить с ними, – сказал Иоаким дворянину.

С этими словами архимандрит вышел, а Иванов остался караулить боярынь.

Когда архимандрит пришел в царские палаты, пробило четыре часа утра, и царь Алексей Михайлович был уже на ногах. Архимандрит доложил царю, чем кончилась его посылка, и рассказал, как Морозова крепко сопротивляется царскому велению, прибавив, что и княгиня Урусова оказалась непокорна.

– Истинно ли ты говоришь? – спросил, удивившись, царь. – Не думаю я, чтобы так было. Слышал я, что княгиня смиренна и не гнушается нашей службы, а про боярыню я давно знаю, что люта и сумасбродна.

– Сестра боярыни, – возразил Иоаким, – не только уподобляется ей, но еще злее ругается.

– Так возьми их обеих под караул да допроси хорошенько слуг Морозовой! – распорядился царь.

Архимандрит из царских палат отправился снова в хоромы боярыни Морозовой.

– Велено отогнать тебя от дому; полно жить на высоте, сойди долу! – торжественно заявил он, входя в постельную. – Встань и иди отсюда!

Боярыня лежала и безмолвствовала. Как настоятельно и грозно ни приказывал ей встать с постели архимандрит, она, казалось, не обращала никакого внимания.

– Нечего делать! – сказал он Иванову. – Приходится забирать ее силою.

Думный дворянин отворил окно, крикнул во двор, и на зов его вошли в постельную несколько стрельцов.

По приказанию архимандрита они приподняли с постели полновесную боярыню и, посадив ее силою в кресла, понесли из хором.

На поднявшийся шум прибежал вверх молодой боярин Иван Глебович. Он хотел было проститься с матерью, но его не допустили, и он мог только положить ей вслед земной поклон.

Княгиня не упорствовала. Она беспрекословно подчинилась приказу архимандрита идти в людскую хорому, в которую втащили на креслах и Морозову. Там по приказанию архимандрита заковали им руки в тяжелые железа, а на ноги надели конские железные путы и держали их так два дня под крепким караулом. На третий день приказано было доставить их в Чудов монастырь, в так называемую вселенскую, или соборную, палату. Княгиня пошла пешком, а упорствовавшую Морозову понесли на креслах. Толпа народа валила за нею, и в этой толпе шел разноречивый говор: одни осуждали Морозову за упорство, а другие, напротив, превозносили ее мужество и стойкость.

VII

Во вселенской палате ожидал боярыню и княгиню крутицкий митрополит Павел*, а также сановные люди церковного и мирского чина. Там сопротивление Морозовой началось с того, что она оказывала властям презрение и неуважение и не хотела говорить с ними стоя. Как ни бились, чтобы заставить ее стоять, но ничего не могли поделать. Приподнимут ее, а она опустится и присядет на кресло или на пол. Станут держать ее под руки, она рвется, мечется и отбивается.

– Я помню честь и породу Морозовых, – кричала она, – и перед вами стоять не буду.

Власти наконец уступили Морозовой, допустив, скрепя сердце, чтобы она сидела в кресле.

– Прельстили тебя старцы и старицы, с которыми ты так любовно водилась, – начал свое пастырское увещание Павел, – покорись царю и вспомни сына.

– Не от старцев и стариц прельщена я, – бойко возразила Морозова, – а навывкла от праведных рабов Божиих истинному пути и благочестию. Ты вспомнил мне о сыне, но знай, что я живу для Христа, а не для сына.

Долго бился Павел с обеими боярынями, но чем более продолжались увещания, тем упорнее делались они обе и тем дерзновеннее становились их речи.

– Дьявол тебя погубил, сдружился ты с бесами, мирно живешь с ними, любят тебя они! Скольких ты порубил и пожег христиан, скольких низвел в ад! – с торжественным укором говорила Морозова, обращаясь к епископу рязанскому Илариону, мучителю Аввакума.

Истомились порядком духовные власти и, убедившись, что приходится отказаться от дальнейших увещаний, постановили: предать непокорных боярынь мирскому суду. Тогда повели их в монастырскую подклеть. Там, в мрачном подвале, под низко нависшими сводами, с окошечками, заслоненными толстыми железными решетками, стояли на полу две большие, тяжелые деревянные колоды, так называемые «стулья», со вделанными в них железными цепями, на конце которых были железные ошейники, или огорлия.

– Вхожу я в пресветлую темницу! – радостно проговорила Морозова, когда ее ввели в подклеть.

Ее подтащили к колоде и приподняли с полу огорлие.

– Слава тебе Господи, что сподобил меня, грешную, носить узы! – сказала Морозова, перекрестясь и целуя огорлие, которое стрельцы надели на шею боярыни, заперев его на большой висячий замок.

– Не стыжусь я поругания, а веселюсь во имя Христа, – добавила она, когда холодное железо плотно охватило ее шею.

После этого обеих боярынь, вместе с колодами, взвалили порознь на дровни. Сестры поняли, что их хотят разлучить.

– Поминай меня, убогую, в твоих молитвах! – крикнула на прощанье Морозова сестре.

И действительно, из Чудова монастыря Морозову повезли на печерское подворье, а Урусову в Алексеевский монастырь. Когда первую провозили мимо кремлевских палат, то она, думая, что царь смотрит на нее в окно, умышленно привстала на дровнях и беспрестанно крестилась двумя перстами.

На подворье Морозову посадили в темный подвал. Железный ошейник скоро протер ее нежную и белую шею до кровавых мучительных ран, а оковы изъязвили ей руки и ноги. Боярыня, однако, не роптала и не смирялась, а скорбела лишь о том, что короткая цепь и тяжелые оковы не допускали ее класть земные поклоны. В свою очередь и княгиня упорствовала. Сидя в Алексеевском монастыре, она, в противность воле царской, не хотела ходить в церковь, и ее, «как мертвое тело», носили туда на рогоженных носилках.

– Зачем волочите меня! – вопила она. – Не хочу я молиться с вами.

Скоро об упорстве Урусовой заговорили в Москве, и в Алексеевский монастырь стала съезжаться московская знать, а также стало сходиться множество народа, чтоб смотреть, как «волокут» княгиню в церковь.

Минул почти год со времени заточения обеих сестер, когда на патриарший престол вступил Питирим*. Игуменья Алексеевского монастыря доложила вновь поставленному святейшему владыке о том соблазне, какой причиняет Урусова своим упорством, а кстати напомнила и о Морозовой. Новый патриарх, мирволивший расколу, завел с государем речь о заточенных боярынях.

– Советую твоему царскому величеству, – сказал Питирим государю, – отдать вдове Морозовой дом да дворов сотницу за потребу, а сестру ее, княгиню, отдал бы ты князю; так приличнее будет. Дело их женское, что они смыслят?

– Давно бы я так сделал, да не знает твое святейшество лютости боярыни. Надругалась она, да и ныне надругается надо мною. Не веришь, так испытай сам; позови ее к себе и узнаешь, какова она; и когда вкусишь неприятное, тогда я и сделаю, что повелит твое владычество.

На другой день после этого разговора Морозову представили снова во вселенскую палату перед патриархом.

– Приобщись, боярыня, – сказал кротко святитель, – по тем служебникам, по которым причащается благоверный великий государь и его благочестивое семейство.

– Не у кого мне приобщаться, – резко отозвалась Морозова.

– Как не у кого? – с удивлением спросил патриарх. – Попов в Москве много.

– Много, да истинных нет! – перебила боярыня.

– Ну, так я приобщи тебя, – уступчиво предложил патриарх. – Я вельми пекусь о тебе.

– Да разве есть какая разница между тобою и ими? – вскрикнула с негодованием Морозова. – Все вы еретики. Никон был еретик, и вы ему подобны. Ты исполняешь только веления земного царя! Отвращаюсь от тебя и не хочу твоего приобщения!

Так как Морозова во время разговора не хотела стоять перед патриархом, то стрельцы поддерживали ее по сторонам, так что она висела у них на руках. Патриарх между тем приказал облачить себя и хотел помазать Морозову елеем.

Увидев эти приготовления, она быстро выпрямилась во весь рост и, подняв вверх сжатые кулаки, зазвенела цепями.

– Не губи меня, грешную, отступным маслом! – неистово ревела она. – Неужели ты хочешь одним часом погубить весь мой труд? Отступись, а не то опростоволошусь, сорву с головы убрus!* Осрамлю и тебя и себя, – угрожала Морозова, так как, по тогдашнему обычаю, женщине позорно было показаться, а мужчинам видеть ее с непокрытою головою.

– Вражья ты дочь! – пробормотал патриарх. – Отныне я и сам отступаю от тебя, – торжественно на всю палату возгласил он, выведенный из терпения решимостью Морозовой опозорить патриаршие седины.

Вкусив неприятное, патриарх обо всем происходившем в Чудове монастыре доложил государю.

– Сожжем ее, владыко, в срубе! – заревел в ярости «тишайший» царь Алексей Михайлович. – А тем временем я сумею распорядиться с нею, – добавил он, грозно пыхтя от гнева при своей царственной тучности.

Между тем к страдавшим за древнее благочестие боярыням присоединились и их прежние сопричастницы.

При разброде из дома Морозовой стариц и странниц успели между ними скрыться инокиня Мария и старица Меланья, до такой степени влиявшая на Морозову, что последняя, как она сама говорила, «отсекла перед Меланьей вконец свою волю». Беглянок этих успели, однако, захватить и теперь их привезли на ямской двор, куда доставили также боярыню и кня-

гину. Когда там их всех собрали в пыточную избу, то туда вошли бояре: князь Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский*.

Зловеще выглядывала пыточная изба: устроенная посреди нее дыба, лежавшие на полу веревки, ремни, цепи, плети и кнуты показывали, что здесь занимались мучительскими делами, и, вдобавок к этой обстановке, наводившей ужас, один из палачей разводил огонь на кирпичном полу избы под сделанной в потолке трубою.

– Что ты, Федосья Прокофьевна, понаделала? – сказал, сострадательно покачивая головою и обращаясь к Морозовой, князь Воротынский. – От славы дошла до бесчестия. Вспомни только, какого ты рода!

– Не велико наше телесное благородие, – отвечала равнодушно Морозова на укорительное увещание Воротынского, – а слава земная – суета. Вспомни только, что Сын Божий жил в убожестве и был распят жидами. Что же после того значат все наши страдания? Обещалась я Христу и не хочу изменить ему до последнего вздоха. Не страшны мне ни изгнание из дому, ни узы, ни царский гнев, ни истязания...

Воротынский, смешавшись, замолчал и, исполняя царское повеление, приказал приступить к пытке.

Палачи подвели к дыбе Марию, обнажили ее по пояс, стянули ей назад руки ремнями и, прикрепив к ним конец веревки, шедшей с потолка по блоку, стали поднимать Марию на встряску. Завизжал блок, и заскрипела на нем веревка, на которой тянули к потолку страдальцу; послышался отчаянный визг, захрустели суставы. Между тем один из палачей, привстав к зажженной в руках лучиной на чурбан, стал водить ею по голой спине несчастной.

– Это ли христианство, чтобы так людей мучить! – вскрикнула Морозова и сильно рванулась к Марии, но тяжелые оковы и короткая цепь с колодою удержали ее на месте.

Первый допрос кончился. Марию спустили с дыбы и вытащили во двор. Наступила очередь Морозовой; с нее сняли цепи и ошейник, крепко затянули ей ремнем руки за спиною и ремнем же связали ноги; после этого ее приподняли на дыбе, а палач начал задавать ей встряски, состоявшие в том, что он ставил на ремень, которым были связаны ноги боярыни, свою ногу и сильными ударами по ремню оттягивал вниз висевшую на дыбе Морозову. От таких ударов руки, стянутые назад, выходя из суставов, заходили все выше за спиною и стали потом подниматься над головою пытаемой. Полчаса провисела Морозова на дыбе, и в это время истязатели то увещевали, то допрашивали ее, но она и среди жестоких мук не отвечала им ничего, а только славословила имя Христово.

– Ремень протер мне кожу до жил, – проговорила она, когда ее спустили с дыбы, взглянув на свои руки, около кистей которых и без того уже были язвы, натертые оковами, а теперь явились и кровавые раны.

Морозову вытащили также во двор и положили на снегу так, что в ногах у нее пришлась Мария, за которую палачи принялись теперь снова. Они били ее в пять плетей сперва по спине, а потом по животу, а между тем бояре угрожали Морозовой, что и ей будет то же самое, если она не откажется от ереси. Но она и страдальца ее оставались непреклонными. Измученную Морозову отвезли снова на печерское подворье, куда неожиданно привели к ней Меланию.

– Уже дом твой, матушка, готов, – заговорила она радостно Морозовой. – Вельми он добр, целыми снопами соломы уставлен. Отойдешь ты скоро в блаженство!

– Знаю, что ты говоришь, Меланьюшка. Пойду я в жертву Христу, как свечка. Ничего я не боюсь. Испытала я разные страдания, не испытала только сожжения, пусть же испытаю и огненную смерть!

Не лгала Меланья, говоря Морозовой о том доме, который ей был приготовлен, и не ошиблась боярыня, предугадывая, что ее сожгут.

Царь, действительно, порешил сжечь Морозову на страх еретикам, и на так называемом Болоте, в московском пригороде, был уже приготовлен сруб для этой страшной, обычной, впро-

чем, в то время казни. Меланью водили на Болото, а потом впустили к Морозовой, чтобы она напугала боярыню. Когда, однако, дело не шутя пошло о сожжении Морозовой, то бояре «не потянули» в сторону царя, и он, в угоду им, отменил свой указ, повелев отвезти Морозову в Новодевичий монастырь и содержать там ее под крепким караулом «и каждодневно волочить к церковному пению». Меланью же и другую сподвижницу Морозовой, старицу Иустину, сожгли, и у раскольников сохранилось предание, что в час сожжения Меланьи и Иустины они наяву в видении предстали Морозовой с радостными лицами в сияющих ризах. Сожгли также в Боровске и бывшего холопа Морозовой, за то что он добросовестно сохранил часть богатства, принадлежавшего опальной боярыне.

Твердость духа в Морозовой поддерживал протопоп Аввакум, который, несмотря на строгость надзора, успевал доставлять заточенным свои послания. Называя Морозову и сестру ее ангелами земными, столпами непоколебимыми, камнями драгоценными, звездами немеркнущими, он поучал их не бояться убивающих тело, а потому не могущих уже ничего сделать. «Мучьтесь за Христа хорошенько, – писал протопоп, – не смотрите вперед, не оглядывайтесь назад. Побоярили на земле довольно, нужно попасть в небесное боярство».

Много слышалась в тереме царевна Софья о страданиях Федосьи Морозовой, и неукротимая духом боярыня представлялась ей образцом женской твердости, хотя бы твердость эту и приходилось применить к другим целям. Слышалась она немало и о протопопе Аввакуме, и ей очень желалось познакомиться с этим отважным вожаком раскола, вступившего в смелую и упорную борьбу как с царскою, так и с церковною властью.

VIII

– Что приведется нам делать, когда не станет государя? Притеснят нас мачеха и Нарышкины, житья нам от них не будет, погубят они нас. Сказал Гаден, что братцу жить осталось лишь несколько дней, а я объявила боярам, что ему лучше стало! – Так шепталась царевна Софья Алексеевна с дальним родственником своей матери, боярином Иваном Михайловичем Милославским*, поседевшим в крамолах, а теперь, по уважению к старости и родству, забравшимся, как гость, в терем царевны.

– Ты разумно поступила, царевна, пусть кончина государя застанет наших недругов врасплох, а сами мы подготовимся на тот случай, когда совершится воля Божия... А видала ли ты сегодня, царевна, князя Василия Васильевича?

При этом имени царевна несколько смутилась, а опытный глаз Милославского подметил ее смущение.

– Знаю, царевна, что он тебе мил, – сказал, не стесняясь, Милославский. – Да и кто же укорит тебя за это? Князь Василий человек уже старый, да и любишь ты его не девичьим сердцем. Какая это любовь! Он боярин умный, всегда благой совет подать может, держись его.

– Поговорим лучше о деле, – с живостью перебила царевна, стараясь замять начатый разговор. – Я спрашивала тебя: что нам делать, когда по воле Божией не станет государя-братца?

– Просто объявить царем Ивана Алексеича*. Ведь престол принадлежит ему и по праву первородства. Слыхано ли дело, чтобы можно было обойти старшего!

– Да ведь братец Иванушка хил, неразумен и почти что слеп. Куда же он годится? – заметила Софья.

– А ты на что, государыня царевна? – смело и глядя в упор на Софью проговорил Милославский. – Разве ты за него править царством не сможешь?

Царевна встрепенулась, гордо и самоуверенно взглянув на Милославского.

– Пусть Нарышкины затевают что хотят, да и мы не оплошаем. Козни их я давно знаю. Вспомни, царевна, что еще при кончине царя Алексея Михайловича сродник их, боярин Матвеев*, уговаривал государя, чтобы он обошел обоих старших братьев и объявил своим наследником царевича Петра Алексеича. Дело к тому и шло, да мы тогда помешали, не пустили царицу Наталью Кирилловну к государю перед его кончиною. Стащили с постели царевича Федора Алексеича, еле он мог тогда подняться, и посадили его на всероссийский престол. Помешаем и теперь. Мы всю Москву против нарышкинского отродья восставили и изведем его вконец! – злобно добавил Милославский. – Знаешь, благоверная царевна, иди-ка в царскую опочивальню, не отходи напоследки от государя, а если что проведаешь, то пришли вечером ко мне Родилицу, да и я, быть может, передам тебе с нею кой-какие весточки.

Милославский поклонился царевне, но, уходя от нее, он вдруг в раздумье остановился.

– Видно, ты, Иван Михайлович, позабыл мне что-нибудь сказать? – спросила царевна.

При этом оклике Милославский вздрогнул и медленно возвратился к Софье Алексеевне.

– Не знаю, говорить ли тебе, царевна, что у меня теперь на уме; пожалуй, тебе страшно будет. Ты, чего доброго, не решишься на то, что необходимо придется сделать, – проговорил как-то нехотя боярин.

– Видно, ты плохо знаешь меня, Иван Михайлович, – бодро отозвалась царевна, – убеди только меня в необходимости, а я решусь на все.

Боярин вытащил из-за пазухи своей ферязи* сложенный лист бумаги и подал его Софье Алексеевне.

– «Бояре Иван Кириллович, Кирилл Полуэктович, Афанасий Кири...» – начала читать Софья, развернув лист. – К чему ж ты это написал? Все они наши заклятые враги; их и без

тебя я хорошо знаю, – сказала царевна, устремив смелые глаза на Милославского и возвращая ему бумагу.

– Разумеется, ты их и без меня знаешь, царевна, да не ведаешь только, что с ними нужно сделать, – загадочно возразил Милославский.

– Нужно настоять у брата-государя, чтобы он отправил их поскорее в ссылку, – перебила Софья, – да это трудно будет добиться: он больно уж добр.

Иван Михайлович улыбнулся.

– Что ссылка, царевна! – махнув небрежно рукою, возразил он. – Разве из нее люди не возвращаются? Помня мои слова: как только посадят царевича Петра Алексеевича на престол, так в сей же час Артамон Матвеев явится снова в чести и в славе. Разве ссылкой можно отделаться от врагов? Отделяются от них... смертью! – решительно проговорил Милославский с сильным ударением на последнем слове.

Царевна вздрогнула.

– Испугалась? – насмешливо заметил Милославский. – Неужели ты думаешь, что если Нарышкины возьмут верх, то они дадут нам пощаду?

С усиленным волнением слушала царевна внушения своего клеветы*. Двадцатичетырехлетняя девушка, хотя и не рожденная с кротким и сострадательным сердцем, колебалась поддаться тому страшному искушению, в которое вводил ее беспощадный советник.

– Зачем ты, Иван Михайлович, говоришь об этом? Расправлялся бы ты сам, как знаешь, а меня зачем на такой страшный грех наводишь? – говорила с выражением неудовольствия взволнованная царевна.

– Говорю я тебе вот почему: первое, если ты будешь во власти, то, чего доброго, почтешь верных тебе людей за злодеев и вздумаешь казнить их за то только, что они, поусердствовав тебе, избавят тебя от твоих недругов. Второе, не дрогнет ли, царевна, твое женское сердце, когда начнется кровавая расправа? Ты не будешь знать, пора ли или не пора еще окончить ее, и, пожалуй, захочешь рано прекратить ее, а тогда враги твои останутся в живых на твою же погибель. Теперь, когда я показал тебе перепись, ты можешь быть уверена, что, кроме тех, о которых я тебе в ней заявил, никто больше не погибнет. Других не тронут. Прямого твоего согласия на истребление Нарышкиных и их соучастников я от тебя не требую. Довольно с меня, если ты только не будешь перечить. Не забывай, царевна, что если мы не расправимся с нашими недругами, то они расправятся с нами смертельным боем, а на тебя, царевна, наденут черный клобук...* А он молодую голову куда как крепко жмет! – насмешливо-угрожающим голосом добавил Милославский.

– Делай что хочешь, – твердо проговорила царевна, – и знай, что передо мною никто в ответе за Нарышкиных и их единомышленников не будет!

Сказав это, она рванулась в сторону, как бы желая освободиться от дальнейшего разговора с боярином.

– Помни же слова твои, благоверная царевна, и не отступись от них! А теперь сторожи хорошенько государя и если усторожишь его, то, статья может, все уладится мирно.

От царевны Милославский через Спасские и Иверские ворота выехал на Царскую, нынешнюю Тверскую, улицу. Улица эта по своим постройкам не многим отличалась от других местностей тогдашней Москвы. По ней, рядом с убогими избами, лачужками и незатейливыми домиками, стояли вперемежку большие деревянные хоромы бояр, которые жили и в государственной столице, словно у себя в вотчине, в деревенском раздолье. За боярскими хорами широко расстилались сады и огороды, во дворах были людские и конюшни и множество разных хозяйственных построек. Каждый боярский дом был окружен плотным высоким забором с наглухо запертыми и день и ночь воротами. В конце Царской улицы, около нынешней Тверской площади, заметно выделялся из ряда других построек большой, в два жилья, каменный дом, и ярко блистала на нем в солнечные дни гладко полированная медная крыша.

Шумно, по тогдашнему обычаю, двигался по Царской улице боярский поезд. Слуги, ехавшие верхом и бежавшие с палками в руках, все без шапок, перед рыдваном Ивана Милославского, кричали во всю глотку: «Гис! Гис!» – предупреждая всех встречных, чтобы они сторонились и давали дорогу ехавшему боярину. Развалившись в рыдване на мягких бархатных подушках, Милославский тихо подъезжал к каменному боярскому дому. Не торопливо, с важностью, свойственной знатым людям того времени, вылез он из своего рыдвана и, поддерживаемый по сторонам слугами, стал медленно подниматься по широкой каменной лестнице, украшенной стеною живописью.

Дом с медною крышею, в который приехал теперь Иван Михайлович, не слишком отдавал стародавнюю Москву. Заметно было, что живший в нем боярин успел уже порядком освоиться с иноземными новшествами. В больших окнах просторных и высоких палат была вставлена не слюда, а стекла; стены были обиты шелком и обоями из тисненной золотом кожи. Вместо обычных в ту пору, шедших вдоль стен лавок была расставлена по комнатам немецкая и польская мебель: изящно точенные стулья и кресла, столы на выгнутых и львиных ножках с мраморными и мозаичными досками. Стены были увешаны картинами и гравюрами иностранных художников. Убранство комнат дополняли шандалы, жирандоли*, стенные и столовые часы, подзоры или драпировка над окнами и дверями и богатые ковры, бывшие, впрочем, в большом употреблении и у тех бояр, которые жили на старый лад. Особенно роскошно и затейливою отделкою отличалась одна палата с сорока шестью окнами. В этой палате среди потолка было изображено позолоченное солнце и живописные знаки Зодиака. От солнца на трех железных прутах висело белое костяное паникадило* о пяти поясах, а в каждом поясе было по восьми подсвечников. По другую сторону солнца был изображен посеребренный месяц. Кругом потолка в двадцати больших вызолоченных медальонах были нарисованы изображения пророков и пророчиц. На стенах палаты висело в разных местах пять больших зеркал, из которых одно было в черепаховой раме. Весь дом князя Василия Васильевича блистал роскошью, и недаром французский путешественник Невиль* писал, что дом Голицына был великолепнейший в целой Европе.

В то время, когда подъезжал Милославский, хозяин, сидя за столом, заваленным книгами и рукописями, с большим вниманием читал в латинском подлиннике сочинение знаменитого Пуфендорфа*, стараясь изучить из его творений трудную науку государственного правления. Он был одет по-домашнему в шелковой однорядке*, но, узнав о приезде Милославского, поспешил надеть ферязь, длинный и широкий кафтан из атласа, так как встретить знатного и почетного гостя только в однорядке, без ферязи, было бы, по тогдашним понятиям, в высшей степени неприлично.

Милославский, войдя в комнату, перекрестился и поцеловался с хозяином, который, приняв гостя с видимою приветливостью и обычною вежливостью, не слишком был рад в душе его неожиданному посещению.

– Просим вашу милость садиться, – сказал Голицын, уступая гостю свое кресло.

– Как поживаешь, князь Василий Васильевич? – спросил, усаживаясь в кресло, Милославский. – Ты все умудряешься чтением?

– Нужно читать, Иван Михайлович, всего своим умом не осяжешь, а европейские народы могут дать каждому не мало от плодов своего просвещения. Вот я теперь читал главу из писания Пуфендорфа «О гражданском житии, или О поправлении всех дел, яже належат общему народу», – отозвался князь, садясь насупротив гостя.

– Хитро что-то, уж больно хитро, – заметил нелюбознательный гость, – да и пользы-от большой нет. Вот погоди, как придет нарышкинское царствие, так умным людям ни ходу, ни житья не будет, – поматывая с угрожающим видом головою, перебил Милославский.

– Почему ж, боярин, ты думаешь, что придет их царствие? – нахмурясь, спросил Голицын.

– Потому, что царю Федору Алексеевичу жить не долго, а по кончине его Нарышкины посадят на престол царевича Петра Алексеевича. Молод он больно, того и смотри, что Наталья Кирилловна захочет быть правительствующею царицею, да, пожалуй, и будет. Шибко она что-то зазналась; забыла, видно, как до брака в Смоленске в лаптях ходила.

Слушая Милославского, князь, с выражением неудовольствия на лице, тяжело отдувался.

– А что ж хозяйюшки-княгини не видать? – спросил, помолчав немного, Милославский. – Видно, я у тебя в доме обычной чести недостоин? – шутливо добавил он.

Милославский заговорил об этом, потому что княгиня, вопреки обычаю, не выходила к нему, как к почетному гостю, чтобы с низкими поклонами поднести ему на подносе чарку водки.

– Будь, Иван Михайлович, милостив к моей княгине; не может она что-то все эти дни, а потому и должной чести тебе не оказывает. Не взыщи с нее за это, боярин!

– Знаю, знаю я ее немоготу, – подмигивая Голицыну, подхватил Милославский. – Просто-напросто ты, князь Василий Васильевич, стародавних наших обычаев не любишь. Сам от них уклоняешься, да и супругу свою к тому же неволишь. Впрочем, и то сказать, в нынешние времена и сам женский пол от многого себя освобождает. Вот хотя бы, например, царевна Софья Алексеевна: по нерасположению своему к старым порядкам с тобою сходствует и недаром так возлюбила тебя...

– Ставлю себе в отменную честь, коль скоро удостоиваюсь внимания государыни царевны, – скромно заметил Голицын, – великого разума она девица! Во время теперешней болезни государя мне часто приходится встречаться с ее пресветлейшеством в опочивальне государя, и соизволяет она нередко удостоивать меня своей беседы, причем я всегда дивлюсь ее уму.

– Ты, князь Василий Васильевич, только и толкуешь, что об уме царевны, а о девическом ее сердце никогда не подумаешь.

– Да какая же мне стать думать о сердце царевны! – усмехнулся Голицын.

– Не сказал бы ты того, что теперь говоришь, князь Василий Васильевич, если бы знал, как оно лежит к тебе, – таинственно прошептал Милославский.

– Негоже тебе, Иван Михайлович, вымышлять такие бредни; да и неучтиво так издеваться надо мною. Я человек уже не молодой, не моя пора уловлять девичьи сердца, а о сердце царевны я не дерзнул бы никогда и помыслить.

– Да и дерзать то нечего, коли оно само к тебе рвется, – проговорил Милославский.

Голицын медленно приподнялся с кресел.

– Оставь, боярин, эти пустые шуточные речи, – начал он, сурово посматривая на Милославского и слегка потирая ладонью свой лоб, между тем как перед ним живо представились и те взгляды, которые подолгу останавливала на нем царевна, и та краска, которая, при встрече с ним, кидалась ей в лицо, и то смущение, которое овладевало ею, когда она начинала заводить с ним речь.

Голицын давно заметил все это, но, беседуя с Софьей лишь о делах государственных и об ученых предметах, он, годившийся ей, при тогдашних ранних браках, почти в деда, не думал вовсе ни о любви, ни о том, что ему принадлежит сердце царевны. Он полагал, что Софья смущается перед его умом и его знаниями и что никакой сердечной привязанности тут не может быть. В старинном русском быту романические затеи вовсе не существовали, да и Голицын никогда не был ходоком по любовной части. Теперь же Милославский своими странными речами надоумил его и открыл тайну, которую он не мог даже подозревать без насмешки над самим собою.

– Затолковались мы, Иван Михайлович, о чем бы и не след нам было говорить; мне уж вторая полсотня жизни идет. Да и не о том теперь думать надлежит; из твоих слов вижу, что смутные времена подходят, – сказал спокойно Голицын.

– То-то и есть, а потому нам крепко царевны Софьи Алексеевны держаться нужно; впереди всех нас ее на высоту следует поставить, а то сокрушат нас Нарышкины.

– Нужно нам, – начал поучительно Голицын, – царственный закон соблюсти и не царевну возносить, а посадить, в случае чего, береги Бог, по порядку старшинства на московский престол ее брата, царевича Ивана Алексеевича.

– Да разве Иванушка-царевич на что-нибудь годен? Может он только мух летом ловить, да и тех, пожалуй, прозеваает, ничего он почти не видит, – с дерзкою насмешкою проговорил Милославский. – Впрочем, – уступчиво добавил он, – что за беда! Совет боярский при нем учредим, не век же и боярству в законе быть.

Голицын хотел что-то возразить.

– Знаю, знаю наперед, – поторопился Милославский, – что ты, князь Василий Васильевич, против боярства идешь. Ну, что же, ради тебя и уступочку сделаем. Царевич Иван Алексеевич государем станет, а царевна Софья Алексеевна пусть царицею хотя и не будет, а только за брата царством править станет. Почитай, что это тебе с руки будет! – насмешливо добавил Иван Михайлович.

Князь сделал вид, будто не слышал последних слов боярина, который теперь со злобою начал перебирать Нарышкиных и всех бояр, державших сторону царицы Натальи Кирилловны, перемешивая эту переборку многочисленных недругов с шутивными намеками на любовь царевны к князю.

Голицын только морщился. Он хорошо знал коварный характер сотоварища по боярской думе и отвечал ему уклончиво и нерешительно.

– Вдвоем, Впрочем, мы, князь Василий Васильевич, не можем столкнуться как следует, а вот приезжай ко мне в четверг хлеба-соли откусать. Окажи мне, боярин, такую великую честь! – сказал, низко кланяясь, Милославский, расставаясь с Голицыным, поблагодарившим его за приглашение.

IX

Боярин Иван Михайлович Милославский, потомок литовца, выехавшего в Россию в 1390 году*, принадлежал, в царствование Федора Алексеевича, к числу старейших бояр как по летам, так и по времени пожалования боярством. Он всегда был охотник мутить, и любимым его занятием было строить разного рода подвохи и козни. Когда же в последние три-четыре года жизни царя Алексея Михайловича Милославский, под влиянием наговоров царицы Наталии Кирилловны, был оттерт от двора, то молодая государыня и ее родственники сделались предметом его непримиримой и ожесточенной ненависти. Он только и думал о том, чтобы, как говорилось в старину, известить их.

В противоположность князю Голицыну Милославский жил по старинному обычаю, не заводя никакой иноземной новизны, а потому съехавшиеся к нему на званый обед гости находились среди той же незатейливой обстановки, среди которой жили и сами они, и их деды и прадеды. Стены обширных, но низких хором Милославского не были обиты дорогими тканями, но были обтянуты холстом, выбеленным известью, и увешаны только иконами. В комнатах не было никаких отделок и украшений, а также никакой другой мебели, кроме столов и лавок да нескольких простой работы кресел для самого боярина и его немногих почетных гостей.

Обед, за который сели гости Ивана Михайловича, стряпался в стародавнем московском вкусе, и из всего иностранного можно было найти за столом старого боярина только хорошее венгерское вино, которым он теперь и угощал весьма радушно своих гостей, рассчитывая, что после обильной выпивки они будут поговорчивее и легче поддадутся его внушениям. Как и всегда, они не отставали друг от друга, и к концу обеда почти у всех порядочно уже шумело в голове, а языки развязывались все более и более. Все гости Милославского прилежали хмельного питья, как тогда говорилось, за исключением трезвого и воздержного Голицына, который, ссылаясь на нездоровье, уклонялся насколько мог от потчевания и приневоливания со стороны хозяина дома. Во время обеда велась беседа о предметах самых обыденных и порою вспоминалось о прошлом.

– Покойный государь, царь Алексей Михайлович, – рассказывал Милославский, – был великий постник. Хотя в мясные и рыбные дни любил покушать, и за столом его бывало в эти дни до семидесяти блюд, но зато в постные дни был воздержен всем на диво; ни единый монах так строго не держал постов, как его царское величество. В Великом посту в целые сутки съедал он по кусочку черного хлеба с солью, по соленому огурцу или грибу и выпивал только по стакану полпива*. На Страстной же, в понедельник, среду и пятницу, ничего не вкушал и во весь Великий пост только два раза кушал рыбу. Выходило так, что в год он постился восемь месяцев.

– Да и насчет молитвы он крепко усердствовал, – подхватил Воротынский, – хотя и был вельми тучен, но ежедневно, а иной раз даже и сряду без передышки, по тысяче поклонов клал; а в большие праздники и до полутора тысячи отбрасает; пот с него, бывало, ручьем катит, а он знай себе кланяется! Любил царь и иконопись; после смерти его осталось восемь тысяч двести икон.

– Кроткий и благодушный был государь! – заметил Милославский, с удовольствием вспоминавший дни своего особенного почета.

– Ну, не скажи этого, боярин, – возразил ему князь Иван Андреевич Хованский. – Бывал иной раз царь Алексей Михайлович с большим норовом и не раз с нашею братиею, боярами, кулачно расправлялся. Какой стих на него находил! Забыл разве, как однажды он своего старого тестя, боярина...

– Что вы тут зеваете! – вдруг крикнул Иван Михайлович на прислуживавших за столом холопов. – Службу у боярского стола покончили, так ротозеять тут нечего!

По приказу боярина холопы повалили из столовой избы, а он встал с места и, притворив дверь, посмотрел, не остался ли там кто-нибудь подслушивать боярские речи. Доносы и тогда были в Москве в большом ходу, и бояре крепко побаивались своих холопов, которые очень часто кричали на них государево «слово и дело»*, объявляя, что господин их вел худые речи о государе, царице или их семействе.

– Вспомнил я, – продолжал Хованский, обратившись к возвратившемуся на свое место Ивану Михайловичу, – о боярине Илье Даниловиче, как он единым похвалялся перед государем, что если бы царь поставил его первым воеводою, то он взял бы в полон короля польского. При мне то было. «Как, слышь ты, страдник, худой человек! – крикнул царь на своего тестюшку*. – Своим искусством в ратном деле похваляешься! Когда же ты ходил с полками? Какие победы оказал ты над неприятелем? Или ты, бестолковый, смеешься надо мною?» Да так с последним словом заушил его, а там хватъ его за бороду, да и ну трепать. Мало того, в пинки его принял, да так в двери и спровадил...

Бояре весело захохотали.

– непригожие были эти дела для боярской чести, – насупясь, заметил Голицын.

– Говоришь ты – непригожее дело, – подхватил снова Волынский, – а сам-то у бояр важнейшую опору их чести отнял, местничество отменил, разрядные книги сжег, – укорял он Голицына.

– Не я все это сделал, – обращаясь к говорившему, вразумительно возразил Голицын, – сделали это выборные люди по царскому указу, а я только, по должности моей, правдивый доклад об их мнении государю представил. Да и что же было местничество, как не пустая только боярская забава, коли государь нет-нет да и прикажет быть всем без мест? Все равно обычай этот вскоре бы сам по себе вывелся, так не пригоднее ли было порешить с ним по приговору выборных? И разве местничество служило в ограду истинной чести боярства? – с жаром продолжал объяснять Голицын. – Из-за него только лишние батоги по боярским спинам ходили, а от заушений, трепанья бороды и пинков никого оно не спасало. Жил я в Польше и знаю, что там король не только сенатора или знатного пана, но и шляхтича простым пальцем тронуть не может, да и в других странах тоже ведется. А у нас, господа бояре, не такие порядки...

– Постой, заведутся хорошие порядки, как станут править царством Нарышкины! – подхватил Семен* Волынский, один из самых преданнейших друзей Милославского.

В то время, когда Голицын говорил толково и уверенно, плотно подъевшие и порядком подвыпившие бояре, казалось, не обращали на его речь особого внимания. Обычный послеобеденный сон начинал одолевать их, и кто из них сидел как осоловелый, поклевывая носом все чаще и чаще, кто, подперев руки на стол и поддерживая ладонями щеки, лениво позевывал и жмурил глаза; кто, положив локоть на стол и свесив на него голову, готовился всхрапнуть, а кто собрался даже разлечься врастяжку на лавке. Сонливость эта, однако, мгновенно исчезла, как только послышалось имя Нарышкиных. Все встрепенулись и наострили уши. Видно было, что обсуждение общих государственных порядков не слишком занимало их, но зато вопрос о личном положении и о будущем затрагивал каждого за живое.

– Против своеволия Нарышкиных можно и боярский совет учредить, – зевнув протяжно и проведя раскрытою ладонью со лба по лицу и по длинной бороде, сказал князь Воротынский.

– Как же! Так тебе сейчас на это волю и дадут, да еще, пожалуй, и твою милость в совет призовут! – насмешливо отозвался Волынский. – Нет уж, коли Нарышкины одолеют, то скрутят так, что и духу не переведешь!

– Ну, еще посмотрим, как им это удастся! Что за важное дело, что на их стороне патриарх, духовный чин и большинство бояр; ведь зато на нашей стороне весь черный народ! – подхватил Милославский.

– Не надейся на число, Иван Михайлович, – спокойно отозвался Голицын. – Припомнится мне, как разумно на такой случай говаривал боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин*. Бывало, с ним кто заговорит так, как ты теперь изволишь говорить, а он и отвечает: «Во всяком деле сила в промысле, а не в том, что людей собрано много; и людей много, да промышленника нет, так ничего не выйдет».

– Дельно, дельно говоришь, князь Василий Васильевич! Разумные речи повторяешь. Каким делом без смышленного заводчика справишься? – подхватил Хованский. – Вот хотя бы ты, Иван Михайлович, в нашем деле на первое место стал, – добавил Хованский, обращаясь к Милославскому.

– Да и то уж я хлопочу давным-давно и могу сказать по чести, что успел кое-что сделать. Решить только нужно, к чему наш замысел вести? – сказал Милославский. – Сговориться нам больно трудно: что человек, то разум.

– Как к чему вести? Известное дело: посадить на престол царевича Ивана Алексеевича, а если он править неспособен, то приставить к нему царевну Софью Алексеевну! – заявил Хованский.

– Воистину, что так, достойна она править царством. Блаженной памяти царь Алексей Михайлович, родитель ее, неоднократно говорил, что она «великого ума и самых нежных проныцательств, больше мужеска ума, исполнена дева», – заявил Иван Михайлович.

Опершись рукою на стол и позаслонив глаза ладонью, князь Голицын внимательно слушал толки своих собеседников о царевне, не принимая, однако, в них никакого участия.

– Ну, а что же ты, князь Василий Васильевич, молчишь? – окликнул его Милославский. – Согласен или нет с тем, что говорит князь Иван Андреевич!

– Не моего завода это дело, – сказал Голицын, вставая с места и собираясь уехать домой. – Ты в нем, Иван Михайлович, и хозяйствуй как знаешь, а от ответа за него, в случае какой беды, я не уклоняюсь и никого никогда не выдам, вот тебе мое в том рукобитие.

Бояре вкруговую ударились по рукам и затем, потолковав еще с Милославским и порасспросив его о сторонниках царевича Ивана Алексеевича, порешили «выкрикнуть» его царем, и во дворце и на площади, а Нарышкиных к первенству не допускать.

Х

В тринадцать часов дня, по старинному русскому счету часов от восхода солнца, или в четыре часа пополудни, 27 апреля 1682 года, в четверг на Фоминой неделе, раздались над Москвою с Ивановской колокольни тоскливые удары большого колокола.

– Никак, гудит «Вестник»? – заговорили в Москве, прислушиваясь к протяжному и редкому благовесту. – Знать, царь умер? – с изумлением спрашивали москвичи друг у друга, так как им хотя и было известно о болезни Федора Алексеевича, но никто не ожидал такой скорой кончины двадцатичетырехлетнего государя.

Догадывавшиеся о смерти царя не ошибались. Действительно, теперь звонили в колокол, называвшийся «Вестник», который каждый раз оповещал население столицы о смерти государей. Вскоре к одинокому его благовесту стал присоединяться заунывный перезвон московских церквей, и народ со всех сторон густыми толпами повалил в Кремль. Туда же, в царские палаты, спешили в колымагах или неслись верхом бояре, думные и разных чинов служилые люди. Вскоре весь Кремль наполнился народом.

После непродолжительных приготовлений тело государя вынесли из опочивальни и поставили среди Крестовой палаты. Эта палата славилась своими издавна привезенными святынями: в ней был в ту пору камень, на котором стоял Иисус Христос, читая молитву «Отче наш». Там же были: печать от гроба Господня, иорданский песок и «чудотворные» монастырские меды. В этой палате родился царь Федор Алексеевич, так как, по тогдашнему обычаю, царицу выносили в Крестовую палату, чтобы там она разрешалась от бремени. В Крестовой палате бояре, по старшинству, подходили к усопшему и прощались с ним, целуя его руку. За боярами следовали окольныхчие*, дьяки, дворяне и жильцы* и вся дворцовая прислуга, а затем стали пускаться в палату, для прощанья с государем, и простой люд. Между тем на Благовещенской площади поднимался говор о том, кому быть царем, и среди народа шныряли какие-то люди, которые то шепотом, то вполголоса, то громко говорили – одни, что надлежит быть царем Ивану Алексеевичу, а другие, что нужно посадить на царство Петра Алексеевича. Народ, однако, молчал в недоумении, не принимая ни стороны Ивана, ни стороны Петра. Он вяло и равнодушно и только с чувством обыкновенного любопытства выжидал, что будет далее. Между тем в царских хоробах происходило совсем иное: там разыгрывались страсти, там шла борьба за верховную власть.

Отдав лобзание покойному государю, духовный чин, бояре и чиновные люди собрались в так называвшейся Ответной палате, где обыкновенно цари принимали и отпускали иноземных послов. Посреди этой палаты стоял теперь аналой, на котором лежало Евангелие и за который встал патриарх Иоаким, положив левую руку на Евангелие, а в правой держа крест.

– Царь Феодор Алексеевич, – начал патриарх, обращаясь к присутствовавшим, – отошел в вечное блаженство. Чад по нем не осталось, но остались братья, царевичи Иоанн и Петр Алексеевичи. Царевич Иван шестнадцатилетен, но одержим скорбью и слаб здоровьем. Царевич же Петр десятилетен. Из них кто будет наследником престола российского? Кого наимуем в цари всея Великия, Малыя и Белыя России? Единый или оба будут царствовать? Спрашиваю и требую, чтобы сказали истину, как перед престолом Божиим. Кто же изречет по страсти, да будет тому жребий изменника Иуды.

– Быть народному избранию! Сами по себе решить это дело не беремся, – заговорили бояре, причем как сторонники Милославских, так и сторонники Нарышкиных надеялись, что преданные им люди успели уже подготовить народ в их пользу.

С крестом в руке, предшествуемый духовенством и сопровождаемый боярами, вышел патриарх на Красное крыльцо. Народ на площади мгновенно смолк, все как будто притаили дыхание в ожидании, что изречет святейший владыка.

– Известно вам, благочестивые христиане, – начал громким, но старчески-дребезжащим голосом патриарх, – что благословенное Господом царство Русское было под державою блаженной памяти государя царя Михаила Федоровича, а по нем державу наследовал блаженной памяти царь Алексей Михайлович. По его преставлении был восприемником престола государь царь Феодор Алексеевич, самодержец всея Руси. Ныне же изволением Всевышнего перешел он в бесконечный покой, оставив братьев, царевичей Иоанна и Петра Алексеевичей. Из них, царевичей, кому быть царем всея России? Да объявят о том свое единодушное решение!

В то время, когда патриарх произносил эту речь, в плотно сомкнувшейся толпе, занявшей место у самого Красного крыльца, начинал уже слышаться все более и более усиливавшийся говор: «Быть на престоле царевичу Петру Алексеевичу!» – и едва лишь окончил патриарх свое обращение к народу, как в этой толпе раздались громкие крики: «Быть царем Петру Алексеевичу! Хотим Петра Алексеевича!»

Но вместе с этими возгласами раздались на площади и другие: «Не хотим Петра Алексеевича, хотим Ивана Алексеевича! Быть ему царем!»

Крики эти неслись из огромной ватаги, которая сперва бежала опростелю к Красному крыльцу, но потом, увидев, что там место уже занято, отчаянно напирала сзади на толпу, требовавшую на царство Петра. Подбежавшая к Красному крыльцу ватага пускала в ход толчки, локти, кулаки; подававшиеся из нее вперед молодцы хватили за шиворот заслонявших им дорогу к Красному крыльцу и силились оттащить их, но те, в свою очередь, осаживали напиравших и отплачивали своим противникам кулачным отпором.

– Напирай, наваливай! – вопил в бешенстве дворянин Максим Сунбулов*, предводительствовавший подбежавшею ватагою. – Страдники вы эдакие, из-за вас я опоздал! – кричал он в отчаянии следовавшей за ним толпе, завидев, что патриарх собирается уже уходить с Красного крыльца в царские палаты.

С уходом патриарха поднялся шум, произошла страшная давка. Одни хотели перекрычать других, и имена Ивана и Петра слились теперь в общий, но уже бесполезный вопль.

Дрожа от волнения и страха и крепко прижав к себе десятилетнего Петра, стояла в Крестовой палате, около гроба царя Федора Алексеевича, величавая и стройная царица Наталья Кирилловна и с трудом сдерживала сына, который хотел вырваться и бежать на Красное крыльцо, чтобы взглянуть, что делается на площади.

– Приветствую твое пресветлое царское величество, – сказал боярин Кирилла Полуэктович Нарышкин*, обращаясь к царевичу Петру, и с этими словами он поклонился в ноги своему внуку.

Царица быстро отстранила к деду своего сына. Бледное лицо ее покрылось румянцем, и радостно заблестали ее большие черные очи. Она упала на колени, творя с молитвою земные поклоны. То же стал делать и Кирилла Полуэктович, а за ним и его внук.

– Иди, благоверная царица, на Красное крыльцо, там ожидают тебя и великого государя патриарх и весь синклит*, – сказал он, почтительно становясь позади своей дочери, которая, ведя под руку сына, пошла медленным шагом на Красное крыльцо. Когда она там появилась с новоизбранным царем, площадь огласилась страшным радостным ревом, среди которого слышалось, однако, и имя Ивана, которого также звали из толпы на царство.

Патриарх, осенив крестом царя-отрока, благословил его на царство, а затем святейший владыка, духовный чин, бояре и бывшие на Красном крыльце служилые люди принесли поздравление Петру Алексеевичу, «великому государю и царю и самодержцу всея Великия, и Малыя и Белыя России».

Если царица Наталья Кирилловна, не будучи в состоянии осилить себя, волновалась и страшилась в ожидании, чем кончится избрание, то царевна Софья Алексеевна, в противоположность ей, казалась спокойною и не поддавалась страху. Иван Михайлович Милославский уверил ее в успехе дела. В то время, когда площадь кипела и шумела, царевна сидела у постели

своего старшего, хворого брата, который не заботился и не думал о том, призовет его или нет народ к царской власти. По временам царевна подходила к открытому окну и внимательно прислушивалась к доносившемуся до нее с площади гулу, с нетерпением ожидая той торжественной и радостной для нее минуты, когда ей придется, подняв с постели брата, явить его народу с Красного крыльца, как великого государя.

Прежде чем патриарх успел объявить на Красном крыльце об избрании царем Петра Алексеевича, из толпы бояр поспешно и незаметно выскользнул Милославский и побежал к царевне. Когда он вошел к ней, его смущенный и растерянный вид показал Софье, что дело ее кончилось неудачей.

– Иди скорее, благоверная царевна, на Красное крыльцо! Ты там нужна! – торопливо проговорил Милославский.

– Должно быть, братца Петрушу избрали царем? – проговорил равнодушно царевич Иван, с трудом всматриваясь большими и подслеповатыми глазами в Милославского.

На вопрос царевича не обратили внимания ни боярин, ни царевна, которая поспешила выйти из братской опочивальни.

– Максимка Сунбулов нам изменил, – говорил на ходу Милославский Софье, – но дело наше вконец еще не пропало. Будь только мужественна, царевна, и не уступай Нарышкиным, они лишь временно осилили нас!

– На праотеческий всероссийский престол избран великий государь царь Петр Алексеевич, – объявил патриарх появившейся на Красном крыльце царевне.

Гневный огонь вспыхнул в ее глазах.

– Избрание неправо! – крикнула она, обведя грозным взглядом патриарха, царицу и бояр, и быстро повернулась, чтобы уйти в палаты.

– Не начинай смуты, умоляю тебя именем Божиим! – тихо проговорил патриарх вслед уходившей Софье, которая сделала вид, что не слышит мольбы патриарха.

Выдержала себя перед людьми Софья, а Иван Михайлович, после долгих убеждений, уговорил даже ее пойти поздравить царя Петра Алексеевича с воцарением, чтобы не подать повода к дальнейшим подозрениям. Но когда она после этого удалилась в свой терем и там осталась одна, то залилась слезами, осыпая проклятиями и мачеху и Нарышкиных.

В это время власть избранного государя утвердилась, на верность ему приводили к присяге бояр, окольных, стольников, дворян, стряпчих и всех служилых людей. Все беспрекорно присягали Петру. В одном только приказе стрельцы отказывались целовать крест царю Петру Алексеевичу, но посланные к ним из дворца окольных, думный дворянин и дьяк уговорили и их присягнуть Петру.

В тот же день началось возвышение Нарышкиных. Великий государь постановил в спальни Ивана, Афанасия, Льва, Мартемьяна и Федора Кирилловичей, а также Василия Федоровича Нарышкиных. Он же снял опалу с Артамона Сергеевича Матвеева и послал к нему указ о возвращении в Москву немедленно. Освобождены были из ссылки и четверо Нарышкиных, им также велено было прибыть в Москву. В противоположность этим милостям объявлено было первым любимцам покойного царя: боярину и чашнику Языкову*, двум братьям Лихачевым* и ближнему стольнику Языкову*, чтобы во время выходов великого государя их не видали. Опала эта была недобрым предвестием для сторонников Милославских, которые дружили прежде с опальными царедворцами.

На другой же день кончины царя Федора Алексеевича, то есть 28 апреля, происходило его погребение. Обряд этот совершали патриарх, девять митрополитов, пять архиепископов, два епископа и все бывшие в Москве архимандриты и игумены. Погребальное шествие открывали шесть стольников, они несли обитую золотою обьярью* крышку царского гроба. От них ее приняли на Красном крыльце стольники. Гроб, покрытый золотою парчою, несли также стольники на носилках, обитых бархатом, а при входе в Архангельский собор их заменили

священники. За гробом шли: царь Петр Алексеевич, царица Наталья Кирилловна и царевна Софья Алексеевна, а другую вдовую царицу, Марфу Матвеевну, несли в креслах спальники и бояре, которые, как и царское семейство и все другие чиновные и служилые люди, были одеты в «печальной», то есть в черной, одежде. За гробом шел народ, с зажженными восковыми свечами, розданными на счет царской казны.

– Дивно, что так спешно государя хоронят! – говорил в толпе один старик. – Того иногда прежде не водилось. Бывало, дадут собраться из окрестных мест множеству народа и съехаться отвсюду духовным властям и служилым людям. Чего так теперь торопят? Чего доброго, заживо его похоронят.

– Нешто не знаешь, что на погребение царя Алексея Михайловича набралось столько народу в Москву, сколько прежде никогда не бывало. Принялись тогда душиить, резать и грабить; так что в день его похорон нашли в Москве более ста ограбленных и убитых. Вот для того-то, чтобы того же и ныне не случилось, и поторопились поскорее похоронить государя, – вразумлял старика подьячий.

– Нет, тут что-нибудь да неладно, – отозвался кто-то из толпы, а старик, сомнительно покачав головою, вопросительно взглянул на окружающую толпу, среди которой поднялись разные толки.

Появление Софьи, как сестры-царевны, на погребении ее брата было в Москве первым еще случаем. Все дивились этому и в особенности тому, что молодая царевна шла не только пешком, но и не заслонила «запонами» и даже с отброшенной с лица фатою. Изумление бояр и разных чинов служилых людей возросло еще более, когда царь и царица, не оставшись на отпевании, тотчас после обедни ушли из собора, а между тем царевна Софья оставалась в соборе до тех пор, пока не засыпали могилы.

Лишь только царица вернулась в свой терем, как к ней явились монахини, посланные тетками и сестрами покойного государя.

– Благоверная царица! – заявила старшая из этих посланниц. – Царевны кручинятся и скорбят, что ты на отпевании их племянника и братца остаться не изволила.

– Сынок мой больно устал, мал он еще; неумогу ему было на ножках стоять, – отвечала царица на этот укор за невнимание ее к пасынку.

Совсем иначе отзывались в теремах царевен о Софье Алексеевне:

– Вот она братца любила, так поистине любила. В горести не помнила даже, что и делала; для него и своей царственной скромности не поберегла и на отпевании осталась до конца. Не то что мачеха! – умиленно почмокивая губами, говорили приживалки, которыми были наполнены терема царевен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.